

КРАСНАЯ НОВЬ

ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
КРИТИКИ И ПУБЛИЦИСТИКИ

О Р Г А Н
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ДЕКАБРЬ

№ 12



ГОСЛИТИЗДАТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1 9 3 8

Антоша Чехонте

Биографическая повесть

А. Роскин

Глава первая

1

О жизни в доме на Полицейской Антоша не помнил ничего.

Во время хождений с матерью или нянкой Агафьей по городу Антоша иногда попадал на Полицейскую.

Из глубины чужого двора на него глядел своими тремя окнами маленький домик. Раскрытые зеленые ставни придавали домику удивленное выражение. Под водосточной трубой стояла бочка. Позади, из-за низенькой крыши, высывались акации.

Вокруг дома рос бурьян. Летние грозы, несаясь из степи, наполняли бочку до самых краев. Антоша находил прекрасным этот домик, где он родился.

Нравилась ему и Полицейская улица. Хотя на Монастырской вывесок было больше, зато на Полицейскую гораздо яснее доносились гудки из газан. Свиные же встречались и здесь и там. Они бродили по мостовой и оглаживали редких прохожих недовольными глазками.

Дома Антоша рассматривал вещи, о которых в семье говорили, что они с Полицейской. Конторка отца, подсвечники, щипцы для снятия нагара и большая кофейная мельница казались обыкновенными и неинтересными.

В чулане среди сломанных стульев и ржавых ведер лежала деревянная колыбель. Ее можно было бы превратить в качели. Но Евгения Яковлевна берег-

ла колыбель, потому что ждала еще детей.

И они появились. Были Александр, Николай, Антон и Иван. Потом появились Маша и Мишка.

На крестины их приходило много народу.

Тетушка Федосья Яковлевна, такая же тихая, как мать, всегда полная лзсковой тревоги, целовала Антошу и почему-то говорила со вздохом:

— Пропала твоя головушка!

Дядя Митрофан Егорыч, прежде чем поздороваться, долго крестился на висевшие в углу иконы. И отец, чтобы не стоять без дела, пока Митрофан Егорыч протянет руки для родственного объятия, тоже оборачивался к иконам, крестился и произносил знакомые Антону слова молитвы.

— Если бог благословит, — говорил Митрофан Егорыч, наконец садясь.

Приходили Камбуровы и семейство Ивана Ивановича Лободы, являлся священник, которому Антоша должен был целовать руку.

Зажженные свечи с громким треском обжигали летевших на пламя мотыльков. Комната заполнялась синим дымом ладана.

От людей, шума и синего дыма голова Антоши затуманивалась. Он смутно помнил гостей за столом, принесенные снизу, из лавки, бутылки сантуринского вина, непонятные и, вероятно, очень занимательные разговоры, чей-то мясистый затылок, шуршание рыжих и розовых платьев...

И помнил еще улыбку, которую как бы впервые видел на лице отца.

Отец, в самом деле, редко улыбался.

Утром за чаем он казался озабоченным. С этим выражением озабоченности отец спускался вниз, в первый этаж, и отпирал дверь лавки, над которой висела вывеска:

чай, сахар, кофе, мыло, колбаса
и другие колониальные товары

Продавать товары, которые назывались колониальными, было, вероятно, очень важным и трудным делом, потому что, когда отец, стоя за прилавком, отшвыривал фунт колбасы или завертывал в бумагу кусок мыла, лицо его становилось особенно строгим.

Болтливые покупатели словно оскорбляли его. На их вопросы он отвечал нехотя, глядя в сторону. Возвращался отец наверх к вечеру. Мать собирала ему на стол. Отец ел медленно, хмурый от усталости, потом шелкал на счетах или читал вслух газету, отрываясь изредка от нее для того, чтобы взглянуть, все ли домашние внимательно его слушают.

Отходя ко сну, Павел Егорыч долго молился таким же ровным и суровым голосом, каким только что читал газету.

И так же, как Павел Егорыч следил за тем, чтобы в чтении газеты принимала участие вся семья, так же он требовал, чтобы вся семья вместе с ним молилась богу.

Павел Егорыч и Евгения Яковлевна становились перед иконами, позади родителей — дети. Все опускались на колени и отвешивали земные поклоны.

Когда Павел Егорыч с легким стуком касался лбом крашеного дощатого пола, Антон за спиной отца строил гримасы. Павел Егорыч оглядывался. Но Антон уже благоговейно простирался перед иконами.

Антоше казалось это какой-то игрой — ие очень занимательной, но привычной и главное неизбежной, потому что родители тоже играли.

Павел Егорыч заставлял детей исправно ходить в церковь — и к всенощной, и к ранней обедне, и к поздней обедне. Все в церкви смотрели на маленьких Чеховых с удивлением

и завидовали Павлу Егорычу, что у него такие хорошие дети.

Павел Егорыч старался тоже придать своему лицу умильное выражение. Но дети знали, что дома умильное выражение на лице Павла Егорыча исчезнет бесследно, и чувствовали себя маленькими каторжниками.

Кажется, Павла Егорыча Чехова не находили злым. Он и не был злым. Но заведенный Павлом Егорычем порядок как-то сам по себе делал ненужной, даже неуместной простую человеческую улыбку.

Менять же раз заведенный порядок Павел Егорыч не умел, да и вряд ли понимал, что это вообще возможно в жизни.

Порядок в доме менялся только тогда, когда Павел Егорыч уезжал куда-то очень далеко. Перед отъездом служили молебен. Опять Антон должен был целовать руки людям в рясах, опять клубился синий дым. Молебны служили с певчими, и хор их звучал в маленьких комнатах нестерпимо резко.

Прощаясь с детьми, Павел Егорыч вынимал кошелек, размыкал толстые металлические шарики замка и долго рылся в мелочи.

— Вот, возьмите... гривенник на всех, — говорил он, слегка растроганный.

В лавке Павла Егорыча заменяла мать или старшие братья.

Покупателям мать говорила, что Павел Егорыч уехал в Харьков за товаром.

«Ведомости таганрогского градоначальства» лежали теперь неразвернутыми. Никто не произносил поучительным голосом знакомых слов, вроде того, что «деньги счет любят», или «копейка рубль бережет». Дети ложились спать, избавленные от бесконечных земных поклонов.

Александр величайшей удачей считал, если кто-нибудь из учителей выводил у него в балльняке единицу именно в эту пору: вернувшись, Павел Егорыч порол за нее не всегда.

Время, когда Павел Егорыч отсутствовал, напсминало внезапно наступившие каникулы.

Антоша надолго уходил из дому.

Улицы с длинными рядами белых домиков походили друг на друга, и только постепенно Антоша научился их отличать.

На одной из улиц находилось небольшое здание, окрашенное в ярко-желтый цвет. Около дома караулил солдат в высокой шапке из медвежьего меха. Это был дворец. В нем когда-то жила царица.

На другой улице высилась каменная баба, толстая и прямая. Александр важно объяснял Антоше, что бабу нашли в степи и привезли в город, но Антоша не мог понять, зачем понадобилось ставить посреди улицы бабу, такую неприятную и пугающую.

Была еще улица, непохожая на все другие, потому что на ней стоял дом в три этажа.

2

Однажды после вечерней молитвы Павел Егорыч сказал Николаю и Антону:

— Завтра без меня не отлучайтесь...

Дети тревожно переглянулись.

Посреди ночи Антон проснулся. Он видел во сне почтовую карету и почтальона. Почтальон с нехорошим выражением лица трубил в рог, и потом, приблизившись к Антону, хотел ему что-то сказать, но только беззвучно пошевелил губами и снова затрубил в рог.

Антон долго лежал, прижавшись к подушке и стараясь не видеть темноты. Он не мог понять, почему трубивший в рог почтальон показался ему таким страшным.

К утреннему чаю Павел Егорыч вышел в черном сюртуке. Он старался казаться строгим и торжественным, но что-то тихое и ласковое засветилось во взгляде, которым он окинул детей.

По взгляду и черному сюртуку дети поняли, что в их жизни должно случиться нечто важное.

Из разговоров родителей дети знали, что их собираются отдать учиться. Они слышали, как мать уговаривала Павла Егорыча определить Николая и Антона в гимназию: так советовали ей жены гимназических учителей, забравшие в лавочке присвию.

Павел Егорыч колобался. Он вспоминал особняки богатых греков. В вечерние часы там вслыхивали люстры и раздавалась музыка. Пламя свечей падало из окон на улицу и омывало зеленые светлыми дождем.

Особняки походили на дворцы, а жизнь их обитателей казалась таинственной и даже фантастичной.

Рассказывали, что Варваци был некогда пиратом, грабившим купеческие корабли на Средиземном море. О Марке Вальяно утверждали, что он прячет контрабандные товары в каких-то подземельях близ гавани. Про Дельпало говорили, что свое богатство он нажил на карандашах: ящиками выгружались они с иностранных пароходов, и в канале каждого карандаша лежала свернутая трубочкой фальшивая сторублевка.

Этим людям с темнооливковыми лицами и резкими голосами принадлежало в Таганроге все — портовые пакгаузы, караваны судов, загородные парки, хлебные амбары, украшенные тонкой лепкой дома на главных улицах и полные товаров лавки. Для иностранцев-миллионеров, торговцев украинским зерном, плыли в Таганрог корабли со столетними винами Испании и молодыми плодами Италии; для них отправлялись из Афин, Генуи и Парижа библиотеки редких книг с голубоватой от старости бумагой; для них на тесных подмостках таганрогского театра пела знаменитая Паулина Лукка и загримировывались героями Шекспира великие актеры — итальянец Сальвини и негр Олибридж.

Павел Егорыч знал, что Вальяно несколько лет назад переправил из Таганрога за границу чудовищную сумму (говорили: полтораста миллионов рублей), и с горечью думал о том, что Вальяно, в конце концов, такой же таганрогский торговец, как и он сам. третьей гильдии купец Павел Егорыч Чехов, владелец бакалейной лавки на Петровской площади, в первом гостинном ряду.

Знакомые советовали Павлу Егорычу обучать детей греческому языку.

— У нас в Греции все есть! — восклицал грек Стамати, завсегдатай чеховской лавочки.

И при этом опрокидывал стаканчик - сантуринского.

Теперь, сидя за утренним чаем, Антон старался угадать, что же ршил отец.

— Ну, идемте, — сказал Павел Егорыч.

Евгения Яковлевна торопливо сунула в руку Антона осыпанный маком бублик и, отвернувшись, вдруг заплакала.

Павел Егорыч отвел детей в преческую школу.

В школе их встретил грек с огненно-красной бородой. Это был Николай Спиридоныч Вучина, директор школы.

Он засуетился вокруг Павла Егорыча и, вынув книгу конторского образца, вписал в нее имена новых своих учеников:

Тсехоф Николаос,

Тсехоф Антониос.

Павел Егорыч ушел. Николай Спиридоныч провел детей в комнату, установленную пятью рядами черных парт, изрезанных ножами, как скамейки в Казенном саду. Каждый ряд был снабжен дощечкой с римской цифрой — от I до V.

В первом ряду мальчики выкрикивали:

— Альфа! Бета! Гамма! Дельта! Эпсилон!

В последнем ряду сидели парни в рваных матросских фуфайках и хриплыми голосами зубрили историю Греции.

Свою школу Вучина именовал пятиклассной. Каждый ряд парт считался отдельным классом.

Чеховых посадили в первый ряд. Николай Спиридоныч положил перед ними по тощей книжке. Называлась она «Неон-Алфавитарнон», что по-русски значит: «Новая азбука».

— Завтра, — сказал Вучина, — надо принести за каждую книжку двадцать копеек. Скажите это вашему папаше. А теперь повторяйте за мной: альфа, бета, гамма...

В школе обучались дети греческих шкиперов и буйных таганрогских лодовиков. Любимым занятием учеников было шататься по гавани. Там выгружались иностранные корабли. На пристани вырастали горы ящиков и кулей, от которых исходил тонкий запах анелсыинов и корники. Набегн учени-

ков на эти товары часто кончались неудачно. За «Неон-Алфавитарнон» многие из учеников принимались с окровавленными лицами.

В школе их тоже били. На первых же уроках Антон испытал удары учительской линейки. Несильная боль от этих ударов показалась ему настолько ужасной, что он даже не заплакал.

Он возненавидел Вучину, его ломаную русскую речь, его руки с черной каймой на ногтях, его огненную бороду...

Дома Антон передразнивал Николая Спиридоныча:

— Родился я в Кефалония... В Таганрог пришел без панталония...

Павел Егорыч хмурился, но молчал. Ему самому прошлое Вучины представлялось сомнительным. Даже Стамати не мог толком объяснить, каким образом этот человек оказался директором школы.

Обучение обоих сыновей стоило двадцать пять рублей в год. Чтобы собрать эту сумму, нужно было отпустить покупателей в лавочке ящики мыла, множество спичек и связок чируса.

Павел Егорыч приходил в школу справляться об успехах сыновей. Вучина уверял, что все обстоит прекрасно.

Однажды он вручил Николаю и Антону по листку.

— Покажите вашим родителям эти бравионы, — сказал он.

Братья догадались, что бравион — это от слова «браво», и поэтому вернулись домой торжествующими.

Они не ошиблись. Вучина наградил их поощрительными грамотами.

На листке Николая Вучина написал: «эскивис», что по-гречески значит благочестивый. В бравионе Антона значилось: «эпимелис» — прилежный.

Павел Егорыч пригласил по этому случаю знакомых греков, чтобы похвалиться знаниями сыновей. Пришли купцы Баклажопуло, Красса, Мавроакки и, конечно, Стамати.

Но оказалось, что ни благочестивый, ни прилежный дальше альфы, беты и гаммы не пошли.

В этот день Стамати не воскликнул: «В Греции все есть!», а Антоша лег спать с заплаканными глазами.

Осенью Антоше сшили синий мундирчик и отдали в гимназию.

Чехов стал ходить в большое грязно-белое казарменное здание с длинными полутемными коридорами.

Он избавился от линейки Вучины. Телесные наказания в гимназии официально считались отмененными, но к гимназистам относились, как к маленьким преступникам. В дверях классных комнат были вырезаны круглые окошечки, через них надзиратели следили за поведением учеников.

Инспектор Дьяконов, потирая руки и подергивая головой, дожимал гимназистов поучениями и наставлениями. Смысл их был такой: каждый свой поступок гимназисты должны согласовывать с начальством.

Гроза первых классов, учитель арифметики и географии Крамсаков, обращался к ученикам не иначе, как со словами:

— Осел, дурак, скоткина!

Зико, преподаватель дрезнегреческого языка, брал с гимназистов взятки за хорошие отметки.

— Худо, эхем худо?.. — бормотал он. — Первое дело — хремата...

Ученики Зико хорошо знали, что хремата по-гречески значит — деньги.

Латынь преподавал чех Урбан. Доносительство можно было назвать страстью Урбана — естли бы не корыстные цели, которые он при этом преследовал. Он доносил классным надзирателям на приготовишек, инспектору на старшеклассников, директору на учителей, попечителю учебного округа на директора, доносил с ужимками и с лгухими намеками, доносил с дрожью и восторгом. И министерство отмечало усердие Урбана крестиком или внеочередным продвижением по службе.

Гимназисты защищались от начальства насмешкой. У Дьяконова была мягкая, неслышная походка — его прозвали сороконожкой. Крамсаков своими длинными, свисающими книзу усами походил на китаец — он стал китайским императором. Помощника классного наставника Степана Карловка Монтанжура звали в лицо Стакапом Иванычем.

Дело не ограничивалось прозвищами. Урбан вызвал к себе такую ненависть, что гимназисты покушались на

его жизнь. В квартире Урбана был устроен взрыв. Однако преподаватель латыни остался невредим: в момент взрыва его не оказалось дома.

Когда во время большой перемены Чехов выходил на поросший крапивой гимназический двор, он чувствовал себя выведенным на прогулку заключенным. И в самом деле, белая стена, окружающая со всех сторон двор, придавала ему сходство с тюремным.

Было большим и настоящим счастьем в конце последнего урока услышать прерывистый, как будто лающий звонок, бросить книги в ранец, выбежать на крыльцо и по дороге домой прицелиться к горячему обитию или конфетам в полосатых красно-синих бумажках, похожих на маленький американский флаг.

Чехов шел домой, весь заполненный одним только чувством — чувством отдаленности завтрашнего утра, когда снова придется идти мимо знакомых домов и заборов — уже не домой, а в гимназию...

Но иногда возвращения из гимназии превращались в пытку, самую ужасную, какую только пришлось испытать Чехову в детстве. Это были дни, когда он приносил домой на подносе отцу баллы — и в баллышке стесала двойка, выписанная рукой китайского мандарина или Урбана.

Двойка означала домашнюю порку.

Павлом Егорычем двигало непоколебимое, как бы застывшее убеждение в том, что он должен воспитывать детей так, как воспитывал его самого. Воспитывал же Павла Егорыча не только добрый сердцем Егор Михайлыч, но и бесчеловечно приказчики и старшие молодцы, люди с тяжелыми, как гири, кулаками...

И Павел Егорыч едва ли подозревал, что, избивая Антона, он годвергает его не обыкновенному отеческому винушению, а чудовищному истязанию.

3

Павел Егорыч составил собственный церковный хор. Певчих он набрал среди кузнецов. У них были голоса, привыкшие перекрывать грохот кузнечного молота. Партии дискантов и альтов исполняли сыновья Павла Егорыча.

Спевки происходили по вечерам. Па-

вел Егорыч заканчивал подсчет дневной выручки, мальчики закрывали ставни лавки. Входили люди в пестрых рубахах и осторожно садились на ящики из-под мыла и стеариновых свечей.

Павел Егорыч ударял камертоном о контртек и поносил его к уху, ловя дрожащий и быстро замирающий звук. Кузнецы сморкались и делали печальные лица.

Павел Егорыч начинал:

— То-ти-то-том... До-ми-соль-до!

Пел «Херувимскую» и «Всемирную славу», разучивали «Веру»...

Когда Павлу Егорычу хотелось, чтобы хор пел тихо, он протягивал руку с таким выражением, как будто вымалывал милостыню. Когда же ему хотелось сильной звучности, лицо его становилось жестким, неумолимым и он производил рукой то самое движение, каким, бывало, в сердцах выталкивал из лавки служившего у него в мальчиках Гаврюшку.

Спевки тянулись долго. Антон представлял себе опустевшие аллеи Казино сада и черную, уснувшую гавань. В перерывах между двумя песнопениями он прислушивался к колотушке ночного сторожа. Но Павел Егорыч ничего не замечал:

— Пиано... Форте!

Он замалкивал смичком из певчих, и трудно было понять, что больше увлекает его — самое пение или же власть регента над хором.

Глаза у Антона слезались, ему хотелось только одного — спать, спать...

— Еще раз, — говорил Павел Егорыч.

Антон вздрагивал и делал вид, что старательно смотрит в захватанные пальцами ноты.

Наконец, Павел Егорыч прятал камертон в жилетный карман и оглушал кузнецов. Антон едва добирался до детской и, слишком усталый, чтобы зажечь свечу, валялся на кровать.

Сон охватывал его почти мгновенно. И этот сон, глубокий и темный, в котором не могли засветиться какие-нибудь видения, внезапно прерывался.

— Пора, вставай, — слышал Антон голос отца.

Антону казалось, что он проспал всего несколько минут.

Он вставал.

Свет лампы уже таял в предрассветном сумраке. На улицу выходили молча. Дома с закрытыми ставнями казались навсегда покинутыми. Лениво кричали петухи.

На соборной площади стояли крестьянские возы с поднятыми вверх оглоблями. Отпряженные лошади шипали траву у ограды собора. Внутри собора было еще пусто. Сторож зажигал тонкие восковые свечи. Антон становился на свое место.

Место это менялось, ибо Антон участвовал в богослужении не только в качестве алта в хору Павла Егорыча. Иногда он прислуживал в алтаре, подавал священнику каднло. Иногда его место было посреди церкви — здесь вместе с братьями пел он трио «Да исправится» или «Архангельский глас». Иногда нужно было взбираться на колокольню и помогать звонарю.

Навсегда врезались в душу Чехова томительные и сонные часы, проведенные им в таганрогских церквях. Звук церковных песнопений, торжественные и легко разносившиеся по темным сводам, случалось, нравились ему. Но они не приводили его в состояние умиления. Он чувствовал другое — скуку, утомление, которое скрашивалось только холодным любопытством. И холодное любопытство заставляло его прислушиваться к тому, как говорят священники и дьячки, как стоят посреди церкви чиновники или жены лабазников, как, звеня кружками за поясом, крестятся богомолки, как опускаются на колени приезжие бабы, зашедшие в церковь в ожидании, пока откроются базарные лавки...

Из всех воспоминаний о церковной службе может быть самым радостным было для него, как однажды Николай, увидев с колокольни шедшую в церковь мать, встретил ее тем оглушительным трезвонком, каким принято встречать только архиерея.

Антон слегка досадовал на то, что это придумал Николай, а не он сам.

4

Было в его жизни еще одно мучение — лавка.

Павел Егорыч заставлял детей по очереди дежурить в своей бакалее.

— Нечего баклуши бить на дворе, ступай в лавку да смотри хорошенько, приучайся к торговле! — постоянно слышал Антон от отца.

И он шел в лавку — заменять хозяйский глаз, как любил выражаться Павел Егорыч.

В лавке было темновато, тянуло смешанным запахом сушеного чируса, ваксы и пряников. На полу стоял боченок с сельдями, на полках лежали грешки, конверты, пряничные рожки, высокие спички с разноцветными головками.

Покупатели заходили редко: соседи или немногие случайные прохожие, соблазненные висевшим в окнах на лентках зелеными и розовыми леденцами.

Антон отмеривал и отвечивал, быстро щелкал на счетах, вынимал из конторки мелочь, отсчитывал сдачу и звонко бросал ее на прилавок.

Антон любил шегольнуть перед покупателями приказничьей ловкостью, но в глубине души ему нравились не покупатели, а посетители. Покупатели поднимали крик из-за недовеска и по несколько раз проверяли сдачу; посетители же приходили в лавку неизвестно зачем, ленивым взглядом окидывали полки, мялись, заводили петропильный разговор и, в конце концов, со вздохом спрашивали коробок спичек или же выпивали стакачик дешевого красного вина.

Они превращали лавку в греческую кофейню или коммерческий клуб. Антон с интересом прислушивался к рассказам посетителей о доставленных в гавань грузах, о новом спектакле итальянской оперы, об оштрафованных торговцах или проворовавшихся таможенных чиновниках — обо всем, чем жил пестрый уездный город Таганрог.

Иногда в лавке появлялись странники в белых от степной пыли одеждах. Незнакомые и непонятные люди, они шли многие недели и месяцы, шли из глухих северных лесов, с далеких рек, из российских безвестных городков. Певучими голосами странники спрашивали в лавочках ржаного хлеба и шли дальше, в гавань, где валялись до тех пор, пока колесный пароход, лениво ударяя плечами по воде, не увозил их в Палестину или на Афон.

Случались дни, когда в лавку не заглядывала ни одна душа. Антон прислушивался к звукам, доносившимся сквозь потолок, стараясь по ним угадать, что происходит наверху, дома...

Эти томительные часы все же были легче, чем минуты, когда ему приходилось работать в лавке в присутствии отца. Какая-то неловкость, почти ощущение охватывало тогда Антона. И он всегда боялся, что в лавку в этот момент зайдет кто-нибудь из его товарищей.

Однажды так и случилось — пришла Маня Дросси, сестра гимназического товарища Антона. Она спросила у Павла Егорыча ученическую тетрадь. Тетради были по три и по пять копеек. Маня заплатила три копейки, но нечаянно взяла ту, что стояла пятак.

Павел Егорыч заметил это, когда Маня уже вышла на улицу. Он догнал Маню и с бранью отнял у нее покупку.

После этого случая Антон долго не показывался в доме Дросси.

5

В третьем классе Антон застрял на второй год.

Его отсадили на «Камчатку», на задние парты.

Павла Егорыча брало сомнение, удастся ли детям пойти по письменной части.

Александр умел чинить электрические батареи, а Взя — переплетать книги. Николай неуклюже рисовал — его можно было бы определить в живописцы: расписывал бы церковные стены. И Павел Егорыч огорчался, что руки у Антона ни к чему не способны.

Было решено, что дети поступят в ремесленные классы при уездном училище — в них могли обучаться и гимназисты.

Николай взялся написать за братьев прошение директору гимназии. Написал он его не очень грамотно:

«Его Высочородию»

Господину Директору Таганрогской Гимназии учеников вверенной нам Гимназии П кл. Иаана, IV, Николай и Антон Чеховых.

Прошение

Желая обучаться в ремесленном классе, при Таганрогском уездном училище по ремеслам из нас: — Ивану переплетному и Николай и

Антон сапожню-портняжному, тмею честь просить покорнейше Ваше Высочордие сделать распоряжение о допущении нас к изучению вышеозначенных ремеслов.

К сему прошению

Ученика IV кл. Николая Чехова,

Ученика IV кл. Чехов Антон

Ученика II кл. Иван Чехов

1873 года.

20 октября.

Николай расписался размашисто, приставив огромную закорючку к букве «Н» и закончив подпись росчерком, похожим на пышный дамский шлейф.

Ваня ограничился одной закорючкой, ровной, без нажима.

Антон подписался мелкими и четкими буквами без всяких украшений.

Слово «ремеслов» никого из братьев не резануло.

Разрешение было дано. Братья явились в ремесленные классы. Их провели к заведующему. Он сидел посреди комнаты, заставленной швейными машинами и прессами. Пол был усеян обрезками кожи, пестрой ткани и переплетной бумаги под мрамор.

На коленях у заведующего лежала доска, он, видимо, что-то мастерил на ней, но что именно, понять было невозможно, так как необыкновенно длинная борода заведующего падала на доску и скрывала работу его рук.

Заведующий принял Чеховых с серьезным, почти торжественным лицом. Выслушав братьев, он как бы в знак окончания аудиенции взялся за конец бороды и смахнул ею с доски опилки. Золотистое облако окружило его, и на мгновение Антон вспомнил о добрых гномах из немецких сказок.

Валаявшиеся в беспорядке инструменты, чудесные запахи столярного клея, разведенного крахмала и свежих стружек, сам заведующий, несмотря на свою чудовищную бороду, совсем не страшный, — все это понравилось братьям.

После гимназии ремесленный класс показался им загроможденной игрушками детской.

Однзко Николая и Ивана очень скоро из уездного училища уволили.

Антон оставили. Его обучали портняжному ремеслу.

Первая одежда которую он сам

шил, — были серые гимназические брюки со штрипками для Николая. Брюки вышли страшно узкие — такие, какие можно было увидеть на иллюстрациях, изображающих неутомимых репортеров и рассеянных ученых из только что появившихся книг некоего Жюль Верна.

Николай затягивал брюки, точно трико, и отправлялся на прогулку, похожий на опереточного пажа, которому пришлось в голову нажнуть на себя сверху гимназический мундир.

В конце концов, Николай был очень доволен. Никто в Таганроге не носил брюк хуже, чем у него.

Толпа мальчишек гналась за ним и пронзительно кричала:

— Штаны макаронами!

Антон обвинил во всем Николая. Он начал шить на самого себя, уверенный в своем мастерстве.

В школьных записях заказов и выполнений появились отметки:

«Антону Чехову триковый жилет из его матсрила, им же сделанный, и ему же триковые брюки из его материала, им же сделанные».

«Ученику Чехову (Антону) жилет из его материала, им же сделанный».

Вещи выходили у Антона странного покроя и кричащей расцветки. Антон, казалось, этого не замечал. Он приходил в гимназию в мундире, не сходившемся по бортам, и в брюках в невольнительную пеструю клетку.

— Чехов, будешь в карцере! — грозил ему надзиратель.

— Да у меня же брюки украли, — оправдывался Антон.

Ему очень хотелось убежать куда-нибудь далеко.

И он решил, что лучше всего бежать в Австралию.

Глава вторая

1

В конце Большой Петровской по обе стороны мостовой высились каменные столбы. На них пестрели щиты с гербами города Таганрога и ярко горели на солнце золоченые шары.

Это был городской шлагбаум. Ох-

ранняя выезда из Таганрога, он проводил черту, за которой хорошо знакомая улица превращалась в таинственный шлях.

Сперва вдоль шляха тянулись домики с темными окнами, потом они отставали, и дорога, широкая и свободная, ложилась лиловой полосой по степной земле, и там уже не было ни тротуаров, ни ржавых вывесок, ни керосиновых фонарей... Доносился слабый свист сусликов, из степи тянуло запахом пыли и цветов.

Степь подступала к городу так же близко, как море. Но азовскую воду со всех сторон окружали берега. Илские и безжизненные, они отнимали от моря какую-то тайну и придавали ему скучающий вид. Степь же была безграничной, недоступной и чудесной. Она казалась настоящим морем, и долгие странствия на волах в самом деле напоминали морские переходы. В темные ночи проезжие люди руководились звездами; разбросанные по степи курганы высились, как островки; разбойники нападали на телеги, словно пираты на купеческие корабли.

Шлагбаум и дорога рождали в Чехове мечты о путешествиях. Стоя здесь, на краю города, он представлял себе, как отправляется куда-нибудь очень далеко. Он прощается с матерью, обещает ей вернуться и, может быть, даже скоро, но ведь только он один знает, сколько опасностей ждет его в пути. И потому, повернувшись лицом к городу, он прощается с ним навсегда — с трехкопными домиками, желтой каланчой, заборами, акациями...

Чехов стоял, охваченный чувством гордости и одновременно жалости к самому себе, и по мере того как над степью опускалось солнце и приближался вечер, жалость росла, думать о далеких путешествиях больше не хотелось, и он прислушивался уже не к свисту сусликов, а к духовой музыке. В Казенином саду играл оркестр, и медные звуки легко неслись по вечерней росе.

Чехов возвращался домой. Мать открывала ему дверь, и он входил, оглядывая стены, как человек, который отсутствовал десять лет.

2

О степи он знал только по рассказам няни. Воспоминания Агафьи Александровны постоянно возвращались к родным ей степным местам — к курганам, постоянным дворам, господским экономиям и бесконечным дорогам, по которым вола с вызолоченными, по старинному обычаю, рогами медленно тащили телеги с сеном или мешки с тяжелым зерном...

Как любили дети эти вечерние часы, когда родители уходили куда-нибудь в гости, и они оставались одни с Агафьей в тесной и едва освещенной детской комнате!

Спокойным голосом человека, проживающего трудную и простую жизнь, Агафья начинала овой рассказ, прерывая его для того, чтобы щипцами снять нагар со свечи.

Это были рассказы о крепостных судьбах, о богатых степных помещиках, рассказы о том, как Агафья помогла господской дочери убежать из дому и за это ее, крепостную девушку, в наказание продали в чужую семью.

Но всего чаще повествовала Агафья о заговоренныхкладах, разбойничьих шайках, ночных нападениях на постоялые дворы, загубленных душах проезжих людей...

Рассказы Агафьи, грустные или пугающие, были уже известны детям от слова до слова. И все же они каждый раз по-новому тревожили душу, как тревожит ее знакомый и непонятный сон, что возвращается таинственно из ночи в ночь.

3

Уже в январе снег пахнул весной.

Лучи солнца густели и желтыми пятнами падали на гимназические парты.

Входя в класс, Дьяконов хмурился и усталым движением руки закрывал глаза.

Светлел в гимназии даже коридор, хотя не имел ни одного окна.

Весна наступала быстро. Ровная белая глина под обрывистым берегом темнела до самого края. Огромным снежным полям возвращалось глубокое дыхание моря. На излучках остыв-

ших пароходов матросы сушили полосатые фуфайки. Смотритель маяка поднимался по винтовой лесенке и снова зажигал фонарь с большим жестяным рефлектором. Крыши домиков покрывались молочно-серым пухом. И перелетные скворцы, ночуя по дороге из Африки у ограды Казенного сада, просыпались наутро с головной болью: где-то рядом до позднего часа играл оркестр духовой музыки.

Равнодушные сумерки зимы, теснота жарко натопленной детской, экзамены — сменялись прекрасной свободой лета. Гимназист Чехов превращался отныне в искателя болбирки и охотника за черепами.

«Болбиркой» назывались куски коры, не простой, обыкновенной коры, а той, из которой рыбаки делали полавки на сети.

Болбирке придавалось значение таинственное и чудесное. На поиски ее дети уходили к берегу, искали долго и терпеливо.

Иногда Чехов останавливался я, забыв о болбирке, смотрел на море. Оно было коричневое и серебристое, почти всегда спокойное и ленивое. Пригибаясь к самой воде, летали над морем мартышки. Далеко, вдоль бледно-зеленого, как будто обесцвеченного морем берега, тянулся белый дымок поезда. Теплый ветер доносил из гавани негромкие удары в колокол и сильные гудки пароходов.

Тот, кто находил болбирку, считался отмеченным счастливым знаком судьбы. В самом деле, из болбирки можно было вырезать кораблик, способный плыть не только по уличным канавам, но и по пенистой прибрежной волне...

Нередко Чехов оставался без болбирки. Огорченный, он бросался в воду.

Вслед за ним с шумом кидались два черных пса с лохматыми мордами — они всегда сопровождали Чехова в прогулках к морю... Но Чехов уплывал все дальше. Псы, отстав, возвращались обратно на берег. Отряхиваясь и коротко дыша, следили они своими глупыми глазами, как голова Чехова исчезала далеко за скрипевшими на якорях пестрыми рыбацкими шаландами.

Охота за черепами была по сравнению с поисками болбирки немного гуманной, так как человеческие черепа встречались почему-то гораздо реже, чем на страницах Майн-Рида, а найденные где-нибудь в бурьяне шербатые лошадиные челюсти или рога быков не всегда принимались в расчет.

На охоту за черепами уходили за город, в Карантин.

Местность, которая так называлась, во времена чумы была в самом деле карантинном, теперь же сюда приезжали дачники. Раскинутый у моря парк, большой и пустынный, напоминал об отдаленных годах, когда в Таганроге жил и умирал царь Александр I. Очень старые люди рассказывали, как по дорожкам будто бы гуляла в одиночестве царица, оставляя на песке следы золоченых туфель. И при этом старики вздыхали так грустно, что им верили.

Заглохшая аллея вела к круглой беседке с колоннами. Ее сложили из грубого камня, колонны выглядели неуклюже, но от беседки веяло чем-то трогательным. Внизу прибой с негромким плеском подмывал глинистый берег, но когда ветер дул из степи, вода отступала и открывала грязное морское дно.

В этой беседке Чехов сидел по долгу.

4

«Вспомнилась мне почему-то мелодрама «Парижские нянщи», которую я раза два видел в детстве».

Чехов — «Рассказ неизвестного человека».

Чехову исполнилось тринадцать лет, когда впервые он попал в театр.

Давали оперетту «Прекрасная Елена». Небо морщинилось, белые колонны с грязными прожилками напоминали цветот стены гимназия, большая луна светилась, как желтый шар в окне аптеки. Но небо, колонны и луна показались Чехову чудесными.

С тех пор на третьем уроке, перед большой переменной, он уже думал только о том, что сейчас в коридоре появится Жорж.

Труд обыкновенных таганрогских людей был тяжел и, главное, очень скучен. Приказчики с утра до вечера торчали за прилавком и отпущали

синьку или лампадное масло; певчие изнывали на рассвете в холодных и полутемных церквах, готовые заснуть стоя, как лошади; чьяновники возлились с шершавыми от пыли бумагами и видели только грязные стены, продырявленные стулья и согнутые спины со слюживцев; казалось, приказчикам, певчим, чьяновникам платили жалование именно в награду за тоску, которую приходилось им всем испытывать.

Жорж был человеком необыкновенным. Работа его заключалась в том, чтобы ходить по улицам с ведерком в руке и расклеивать на заборах листы разноцветной бумаги.

Он являлся разносчиком счастья. Зеленые и розовые театральные афиши, которые расклеивал Жорж, придавали улицам праздничное выражение. Они заставляли Чехова жить ожиданием и мечтой. Афиши извещали о «Рокамболе» и «Ограбленной почте», «Парижских нищих» и «Итальянских бандитах», «Синей Бороде» и «Мирандолине» — и каждая из них рождала в Чехове первое видение театра: освещенный снизу занавес и шум увертюры, подобный радостному сердцебиению.

К большой перемене Жорж приходил сообщить гимназистам репертуар на ближайшие дни. Если репертуар был интересный, Жоржа качали.

Охоту за черепами Антон забросил. Он предпочитал ловить птиц. Когда Антону удавалось продать на базаре шегла, он думал о театре.

Антон копил теперь каждую копейку.

Мелкие домашние разговоры, суровые попреки отца, холод в лавочке, ужимки Урбана, окрики Крамсакова — все это теряло свое значение для Чехова, если в кармане у него лежал театральный билет.

Он жил теперь, никогда не забывая о театре, в театре же забывал обо всем.

После обеда в тесных комнатах чеховского дома начиналась тягучая вечерняя жизнь.

— Дай-ка мне, Евочка, газету, — говорил Павел Егорыч.

Евгения Яковлевна подавала мужу «Ведомости таганрогского градоначальства».

Павел Егорыч осторожно разворачивал газету и начинал читать вслух, медленно и громко.

Антон смотрел в окно. На улице было уже совсем темно. В полосе комнатного света скользили по стеклу дождевые капли. Антон думал о том, чтобы не опоздать к спектаклю.

Наконец Павел Егорыч откладывал газету в сторону.

— Расскажи-ка мне, Евочка, что я только что прочитал, — просил он Евгению Яковлевну.

Антон надевал триковый жилет собственного изделия, нахлобучивал давно уже ставший тесным картуз и выходил из дому.

До театра было далеко. Он шел по длинной и глухой улице. Свет одиноких фонарей казался ему испуганным шопотом.

Билеты на галерку продавались нулимерованными. Чтобы захватить первые места, Чехов приходил задолго до начала представления. По узкой деревянной лестнице он пробирается наверх, к входу на галерею. У запертой двери Чехов садился.

Понемногу набиралась публика — приказчики с Нового базара, барышни в оливковых и красных кофточках, молодые конторщики с выражением напуженной обиды на лицах. Гремел замок, двери раскрывались — и Чехов первым вбегал на галерею. За ним с криками и топотом неслась толпа в мгновенно захватывала все места. Передние напирали на задних, обдавая друг друга острыми, как наштавырь, залахами дешевых духов и ваксы. Девицы негромко повизгивали. Пол усекзался шелухой подсолнухов.

Тесно прижатый со всех сторон к барьеру, Чехов с нетерпением ждал начала представления. Но театр был еще пуст. Горел один газовый рожок, и в его мертвенном свете партер казался большой унылой ямой. Сквозь занавес доносился приглушенный стук молотков по дереву и неясные голоса рабочих.

Но вот в зале возникла легкая гул, и, казалось, от него вспыхивал свет, озаряя потолок, по которому летели белесозеленые музьи, трубя в тонкие и длинные серебряные трубы.

В ложи входила, шумно двигая

стульями, богатые греки со своими женами. В проходе партера, спиной к сцене, стоял в синем мундире Дьяконов. Бегающим взглядом окидывал он балкон и галерею.

Из боязни потерять свое место, Чехов не отходил от барьера, а только низко опускал свою большую стриженую голову.

Поднимал он ее только тогда, когда театр погружался в темноту и со сцены раздавались первые слова пьесы.

5

Летом Чеховы оставались в городе. Только однажды они поехали в Криничку семьей — все, кроме Павла Егорыча.

До Кринички было всего день езды, но к поездке приляглись готовиться задолго. Евгения Яковлевна с озабоченным лицом пекла в дорогу пироги, Агафья поднимала тяжелую крышку обитого железом сундука и доставала старые одеяла с набивными пестрыми розами, Павел Егорыч писал какое-то письмо — вероятно дедушке Егору Михайлычу, что жил неподалеку от Кринички...

Гимназисты Чеховы предстоящую поездку называли экспедицией и спорили о том, нужно ли брать с собой компас.

Вани предложил наточить перочинные ножики — так, на всякий случай.

Несколько раз в день Антон бегал на Петровскую улицу, к часовщику, и смотрел на выставленный в окне барометр.

Накануне отъезда Антон пошел к маяку. Ему хотелось поговорить со смотрителем о погоде. Но смотритель хмуро взглянул на Антона и, покачав своей бритой матросской головой, почему-то ничего не ответил. Антон вернулся домой со стесненным сердцем.

Эти заботы совершенно отвлекли внимание Антона от поведения старших братьев. Между тем Александр целый день таинственно провозился с какими-то полосами бумаги, а Николай, надолго исчезнув куда-то, вернулся домой со свертком, очень тонким и круглым. Сверток этот он спрятал к себе под подушку.

Назавтра Антон встал с рассветом.

Солнце спокойно поднималось над зелеными крышами. Розовый свет падал на закрытые ставни. От деревьев ложились длинные и негустые тени. Было очень тихо, как бывает тихо на рассвете чудесного дня.

Во двор въехал извозчик Иван Федорыч. Агафья устала дроги одеялами, Евгения Яковлевна вынесла плетенку с пирогами, крутыми яйцами и вареньем.

К концу сборов появился Александр. На нем была неопишуемой красоты шляпа из сахарной бумаги, одна из тех шляп с широчайшими полями, которые братья видели на головах бандитов в опереточных спектаклях. Душа Александра наполнилась радостью и торжеством. Со скромным достоинством оглянувшись на спутников по экспедиции.

То, что он увидел, заставило его вздрогнуть. Перед ним, прищурив один глаз, стоял Николай с цилиндром на голове, настоящим цилиндром. И, вероятно для того, чтобы еще более подчеркнуть роскошь своего головного убора, Николай вышел босой.

Насладившись произведенным впечатлением, Николай снял цилиндр и нажал в нем какую-то кнопку. Цилиндр с сухим электрическим треском сложился в плоский круг.

Это был шапокляк.

Пока ехали по таганрогским улицам, участники экспедиции в душе восхитались шапокляком и поэтому жестоко издевались над Николаем. Но когда город остался позади, радовались уже только степи.

Она открывалась безграничная и цветущая, полная жизни в высоких травах, прохладных оврагах и одиноких рощах. Дети узнавали степь, как впервые узнают море те, кто представлял себе его ранее только по прибрежным раковинам и водорослям.

В серебре полныи и веселой голубизне свинячей цыбульки узнавали они мягкий повсюст перелетов и скрипучие, отрывистые голоса коростелей. В рощах, сквозь спокойную листву, они угадывали столько птичьих гнезд, что, казалось, ощущали исходившее от них тепло. В оврагах улавливали они невнятное журчание ручья — он прятался где-то неподалеку в камнях.

А над всем этим, над травами, ро-
щами и оврагами, было небо, совсем не
похожее на городское, открытое со
всех сторон и такое бездонное, что за-
летевший высоко под легкие облака
коршун, не отрываясь смотрел на зем-
лю, как будто боялся ее потерять, по-
тонув в глубине лазури.

Дроги проезжали мимо белых доми-
ков, окруженных черно-золотыми го-
ловами подсолнухов, мимо хуторов,
где странно звучала немецкая речь ко-
лопнистов, мимо барских усадеб и са-
дов, окруженных ллетеными изгоро-
дами, к которым подбегали степные
зайцы.

На берегу неторопливо извивавшей-
ся реки остановились на привал.
Александр и Антон развели костер.
Николай разлегся рядом, задрал квер-
ху босу ногу и осторожно положил
голову на разостланный ковер: он бо-
ялся помять цилиндр.

— Мордохривенкс, есть у тебя па-
пирсы? — спросил Антон.

У Николая была привычка прищуривать один глаз, и теперь Антон с осо-
бенным удовольствием поддразнил брата: этот цилиндр здесь, в степи, пачкал его слегка раздражать. Антону хо-
телось сбить его с головы Николая.

Два дня прожили Чеховы в Кринич-
ке, и лучше всего запомнилось Анто-
ну, как вместе с Александром, шуруя
в прибрежных камышах и шумно уда-
ряя по воде, вылавливали они бреднем
золотистых линей и остроносых шурат.

На берег дети выходили с лилыми
и счастливыми лицами. После лов-
ли на море, где на удочку шли одни
бычки, эта речная добыча казалась
сказочной.

Из Кринички Иван Федорыч повез
Чеховых к дедушке Егору Михайлы-
чу. Слова дети вывели степь, моги-
льные курганы, заросшие травой боль-
шаки, объездчиков на маленьких быст-
рых конях и стада свец, неподвижные,
как застывшие над ними облака.

Дедушка служил управляющим в
Княжой, старой и заброшенной граф-
ской усадьбе. Большой дом с позоло-
ченными карнизами и расшатанными
креслами был пуст и пахнул сыростью.
Высокие окна никогда не светились.
На закате солнце равнодушно сколь-
зило по ним, как по стеклянному гла-

зам мертвеца. В затаенных зеленую
прудах кричали лягушки. Палисадник
покоился. Для того чтобы он не упал
совсем, его кое-где прикрепили цепя-
ми к деревьям. Старые клены с охва-
ченными ржавым железом стволами
походили на заколдованных узников,
когда-то сильных и страшных, а теперь
только добродушно шелестевших лист-
вой.

Додушка жил не в господском до-
ме, а рядом, в тесной белой мазанке.
Он встретил внуков с таким выраже-
нием, какое бывает у старого челове-
ка, который только что очнулся от не-
долгого и радостного сна.

Одевается дедушка странно. Пря по-
мощи пуговиц на необычных местах
он зачем-то соединял брюки и жилет
в одно целое, и от этой одежды, ка-
залось, уже никогда нельзя было осво-
бодиться.

Дедушка на легких беговых дрож-
ках повез детей по заглохшим доро-
гам усадеб, и дальше, в поля.
Встречные мужики снимали шапки и
кланялись дедушке. Он отвечал им
строго, и на лице его уже не было
выражения человека, только что ви-
девшего радостный сон.

Дети знали о дедушке немного, но
то, что они знали, рисовалось им уди-
вительным и немного страшным.

Они знали, что дед когда-то был
крепостным, жил не здесь, в Княжой,
а далеко от Таганрога, в воронежских
местах, у помещика Черткова, и звали
его по-рабы коротко: Егор Чех. Де-
сятки лет копил он деньги, чтобы вы-
купиться на волю. Но когда наконец
скопил, оказалось, что на сыновей
своих хватило, а на дочь денег боль-
ше не было.

Дедушка попросил своего помещи-
ка не продавать дочь на сторону, а
подождать — ведь удалось бы когда-
нибудь скопить и на дочь...

О том, что произошло дальше, Егор
Михайлыч рассказывал так:

— Тут Чертков подумал, махнул
рукой и сказал: «Так уж и быть, бери
и ее в придачу!» Вышел я тогда на
волю всей семьей, сыновей хоть по
разным городам, а все же пристроил.
Михайла переплетчиком в Калугу. Ми-
трофана по торговой части, к купцу
Байдалакову в Ростов, а Павла в Та-

танрог, мальчиком к Ивану Евстратьевичу Кобылину... А у Ивана Евстратьевича служить мальчиком больше чести, чем у кого другого старшим приказчиком: миллионер, купец первой гильдии, гурты гонял прямо в Москву, опять же свой бакалейный и винно-гастрономический магазин...

Но о купце Кобылине слушать детям было нейнтересно. Они часто встречали его на улице и не понимали, почему дедушка находил таким замечательным этого старого человека с очень скучным лицом. Дети прерывали Егора Михайлыча и просили повторить самое удивительное место его рассказа — как помещик махнул рукой и сказал: — Так уж и быть, бери и ее...

И дети жалели, что никогда не видели тетку Александру Егоровну, из которую нехватало денег и которую помещик мог взять и продать на сторону.

Воспоминания дедушки сливались в душе Антоша с тем, что рассказывала о прошлом Агафья. Ведь продал же генерал Иловайский Агафью в чужую семью...

Ночевал Антон в господском доме, в одной из пустых и темных его комнат. Ложась спать, он думал о тех, кто мог покупать и продавать людей, простых и понятных ему сердцем людей, таких, как дедушка или Агафья. В своем воображении Антон населял дом и графами Платовыми, и помещиком Чертковым, и генералом Иловайским, старался представить себе их беззаботную жестокость, о которой дедушка говорил спокойно, и их удивительное богатство, о котором дедушка говорил с волнением.

Незнакомое чувство грусти охватывало Антоша, и с этим чувством тушил он огарок свечи, поставленный ему дедом возле разложенной на полу постели.

Во сне он видел графиню Платову: в черном платье и в длинных, выше локтя, белых перчатках, мчалась она на беговых дрожжах через поля. Выражение лица у графини было печальное, и Антошу почему-то хотелось ее пожалеть, но в это мгновение он проснулся.

В доме было очень много блох, и они мешали спать.

Глава третья

1

— Антоша пришел! — крикнула Маня, стоя на пороге дома.

Где-то в глубине комнат залаяли собаки. В окно выглянула дочь кухарки Лиза, девочка с бледным веснушатым лицом и жиденькими косичками.

— Антоша пришел! — повторила она вслед за Маней и, покраснев, исчезла.

Маня пошла через двор навстречу Чехову, жмурясь от бывшего ей прямо в глаза солнца. В руке она держала за резинку большую соломенную шляпу с развевающимися голубыми лентами. При каждом шаге шляпа раскачивалась.

Чехов отправился к Андрею Дросси с твердым решением не обращать больше никакого внимания на его сестру. Накануне она заперлась у себя в комнате и не захотела пустить Чехова. Ему пришлось сходить в лавочку и принести кармели на двадцать копеек. Только тогда он увидел Маню.

Эти двадцать копеек Чехов отложил на театр. Теперь посещение театра откладывалось, но главное — он чувствовал, что поведение его было недостаточно охотника за черепами.

И все же, когда Чехов снова увидел Маню, ее улыбку, раскачивающуюся на резинке шляпу, он мгновенно забыл о своем вчерашнем решении. Он остановился, как будто желая продлить путь Мани к нему через булыжник и чертополох.

— Ты знаешь, Антоша, опять Полина Петровна приготовила для тебя александрухен. Только это секрет, она просила тебе не говорить...

Чехов хотел было уже ответить, но в это время он заметил, что перед Маней, в траве, лежал продырявленный воздушный змей. Сколько раз он помогал Мане запускать змея, между тем как другие мальчики издевались над ее неудачами. И после этого он должен был стучаться в запертую дверь, бегать за карамелью!

Чехов сделал равнодушное лицо и ничего не ответил Мане. Она круто

повернулась на каблучке и направилась к воротам.

Кофейного цвета голубь медленно рассек разогретый воздух и, сев на крышу, лениво застонал о счастье. Рядом в конюшне лошади осторожно поскребывали копытами о бревенчатый пол.

Чехов вошел в дом, где даже ссоры казались радостью.

2

Андрей Дросси был гимназическим товарищем Чехова. В гимназии они видались только в коридорах во время перемен, так как Чехов был одним классом старше Андрея. Зато они вместе бродили по Казениному саду или искали в прибрежных песках заветную болбирку, взволнованно избегали по темной театральной лестнице на галерку, катались на коньках, клеили воздушные змеи с длинными хвостами из мочалки, занимались множеством других замечательных вещей.

Дружба Чехова с Андреем превратилась в дружбу со всем домом Дросси. Не только люди, но и лошади, собаки, голуби нигде не казались Чехову такими ласковыми, как здесь, и даже часы под стеклянным колпаком блили в гостиной таким нежным боем, как будто стеснялись напомнить гостям о времени.

Гостей всегда было много: Левничий, Данилов, Камышанский, братья Гончаровы, Кацеваряги, Савельев — товарищи Андрея.

Они были и друзьями Чехова.

Когда Кацеваряги надоедало дразнить Маню, Гончаровым — спорить о политике, Андрею — сочинять неуклюжие эпиграммы, когда всем остальным надоедало болтать и смеяться, принимались музицировать.

Илюша Данилов был великолепным виолончелистом. Играл на скрипке Андрей.

После долгих уговоров гувернантка Полина Петровна соглашалась сесть за рояль. Составлялось трио.

Чехов садился вместе с Маней на диван.

Он слушал музыку очень внимательно, лицо его становилось серьезным, но стоило Полине Петровне по

окончании пьесы выйти из комнаты, как Чехов начинал передразнивать ее жеманные манеры старой деви.

Полина Петровна знала это, но почему-то прощала Чехову.

Этот мальчик в слишком коротких брюках казался ей таким же одиноким, какой была она сама.

Полина Петровна покупала в кондитерской сладкий александрукен — особю для Антоши.

Чехов благодарил Полину Петровну, съедая александрукен — и показывал, как Полина Петровна оправляет платье, скромно опуская глаза.

Если Чехов не заставлял Андрея или Маню, он оставался со взрослыми.

Отец Андрей, купец, торговал хлебом, как торговал мылом, колбасой и спичками отец Антона. Однако мягкая его улыбка, дорогие пестрые галстуки и итальянские арчи, которые он любил надевать вполголоса, мало напоминали Павла Егорыча. При встрече с Дросси таганрогские конторщики и приказчики снимали картузы и кланялись так, как кланялись только богатым и уважаемым в городе людям. Но Антон замечал, что у себя дома Дросси никогда не повышал голоса и держался скорее гостем. Это удивляло Антона и вызывало в нем неясное чувство сожаления о себе в легкой зависти ко всем, кто жил под этой веселой кровлей.

Ольга Михайловна — мать Андрея — подобно деду Чехова Егору Михайлычу или няньке Агафье Александровне, любила вспоминать о том недавнем прошлом, когда слуги были при господах. Но в то время как рассказы дедушки или няни-стелнячки были печальны или жестоки, воспоминания Ольги Михайловны казались такими же ласковыми и легкими, как все, что заполняло дом Дросси.

Ольга Михайловна жила ранее в своем имении под Миргородом. Имение было великодушное, с большим вишневым садом. Ветки смотрели прямо в окна, и весной, когда деревья стояли в цвету, комнаты в доме наполнялись светом, чистым и белым до боли в глазах.

Вспоминая об этом, Ольга Михайловна вздыхала и задумывалась. И потом, помолчав, рассказывала, как по-

сле отмены крепостного права именно было продано и ей пришлось оставить дом, где она прожила свою молодость, и переехать в Таганрог.

Именно Ольги Михайловны находилось под Миргородом. Чехов легко представлял себе места, знакомые ему по любимым гоголевским повестям. Он готов был вместе с Ольгой Михайловной грустить о вишневом саде, который, вероятно, давно уже погиб под чужим топором.

Случалось так, что в то время, как у Ольги Михайловны сидел Чехов, в комнату входил повар Степан. Дрожащей от старости рукой он подавал Ольге Михайловне испеченный кривыми буквами листок бумаги:

— Барышня, посмотрите меню, — бормотал он, почему-то виновато моргая глазами.

Бывший крепостной Ольги Михайловны, он не захотел от нее уйти и последовал за ней в город. Хотя Ольга Михайловна давно была замужем и имела двух детей, Степан упрямо называл ее барышней.

Чехов однажды слышал, как Степан на кухне говорил о воле, как о несчастье.

Чехов вспоминал, сколько пришлось в своей жизни перетерпеть дедушке Егору Михайлычу или Агафье, и никак не мог понять повара дома Дросси.

3

Занавес с легким стуком касался пола. В затуманенном зрительном зале снова вспыхивали газовые рожки, чтобы вскоре погаснуть совсем.

Из театра Чехов уходил принцем Гамлетом, кавалером Риппфратта, провинциальным актером Львом Гурычем Синичкиным. После пьес, которые Жорж называл «триковыми», Чехов, возвращаясь домой, не нажимал кнопку звонка, а стучал воображаемым дверным молотком. «Рокамболь» или «Мирандолина» ничем не напоминали знакомый таганрогский мир и потому нравились ему. Этот мир напоминал пьесы Островского — но они тоже нравились Чехову. Чехов полюбил Островского. В героях Островского он узнавал приказчиков Ивана Евстратьевича Кобылина и купцов с Нового базара.

На представлении комедии «Без вины виноватые» судьба матери и сына глубоко взволновала Чехова. Он не выдержал и заплакал.

Видел Чехов в театре и многое другое: смешной французский водевиль «Дело в трех шляпах», захватывающую драму «Ограбленная почта», оперетту «Чайный цветок», мелодраму «Парижские нищие».

Надолго запомнилась Чехову пьеса «Хижина дяди Тома».

— Том, твоя рука еще сильна! — трагически восклицал он, положив руку на плечо товарищу.

Воспоминания о театре, о всех этих спектаклях, трагических, веселых, мелодических, смешивались в его душе в нечто пестрое, живое и свое, близкое.

Чехову хотелось произносить чужие слова и двигаться чужой походкой. Он хотел жить той удивительной жизнью, какой живут актеры на зеленноватом полу сцены.

Дома Антон изображал, как таганрогский градоначальник князь Максютин появляется в соборе или на военном параде; говорил «по телефону» с фантастическим собеседником; читал лекцию собственного сочинения о сотворении мира: в первые дни коринка была смешана с изюмом и их никак нельзя было различить, луну же отмывали прачки...

Любил еще Чехов представлять зубного врача.

Загримировывался Чехов с умением настоящего актера.

Как-то он перседелся нищим и пошел к дому Митрофана Егорыча. Дядя не узнал его и подал милостыню.

Чехов гордился этой медной монетой, точно медалью, пожалованной за высокое искусство перевоплощения.

И в самом деле, Антон обладал какими-то тайнами этого искусства, ибо игра его вызывала улыбку даже на суровом лице Павла Егорыча.

В доме Дросси молодежь устроила настоящий театр. Кретоновый занавес с наклеенными попугаями и большой жар-птицей разделял гостиницу на сцену и партер. Ботинки комнаты превращались в артистические уборные. В небольшом стеном шкафу хранились костюмы, парики, старые шпоры, все-

ра, пистолет с заржавленным курком, жженые пробки, пожелтевшие кружева. Сюда же прятали пирожные, приготовленные ко дню спектакля Полиной Петровной.

У входа в гостиную за столиком сидел кассир и через воображаемое окошко выдавал билеты: белые в партер, серые на галерку, то есть в переднюю.

Запоздавшим зрителям кассир с небрежным торжеством говорил:

— Партер весь продан! Остались только боковые..

И это, пожалуй, было интереснее, чем исполнять в пьесе какую-нибудь маленькую роль — например, выходить на сцену с зажженной свечой для того, чтобы первый актер трупы мог, запечатывая конверт, наслаждаться трескучим кипением сургуча, забыв на мгновение о своей роли.

На спектакли приходили знакомые Дросси — богатые греки и итальянцы, садившиеся на составленные в ряд стулья с тем независимым видом, с каким занимали они места в своих ложах на оперных спектаклях в городском театре.

Три барышни Караспасовы, все в очень ярких платьях, поднимали своими веерами легкую вздушную бурю.

Раздавался знакомый Антоше голос Митрофана Егорыча:

— Если бог благословит...

Озабоченно оправляя прическу, усаживалась поближе к сцене Полина Петровна.

В передней толпились горничные, повар, мальчишки в услужении.

В комнате для артистов появлялся Чехов. От него пахло конюшней; одним из его любимых занятий в доме Дросси было наблюдать, как кучер Филипп ходит за лошадьми.

С волнением зажигали дети большие керосиновые лампы: не раз во время представления артисты вздрагивали от треска лопнувшего стекла.

Репертуар театра был самый разнообразный. Сегодня ставили оперетту «Дочь второго подка», я, одетая в гусарский ментик, гимназистка пела, подражая манерам засажих итальянских певцов:

Полк, за мной!
Полк, за мной!

А в следующий раз разыгрывали уже «Лес» Островского, и Чехов подавал реплики Несчастливцева.

В доме Дросси ставились и пьесы, сочиненные Чеховым. То были сценки и обозрения таганрогской жизни, в которых зрители часто узнавали самих себя. Пьесы эти записывались в особые тетради. После спектакля Чехов их уничтожал.

В театре дома Дросси, как и во всех театрах, артисты кланялись партеру, в то время как им аплодировала галерка.

На одном из спектаклей кухаркина дочь Лиза, взволнованная исполняемым и чудесным зрелищем, которое, раздвигаясь, открывал ей занавес с популяями, упала в обморок.

Чехов, забыв о своей роли, крикнул:

— Дайте скорей капель!

Капель в доме не оказалось и Чехов побежал в аптеку, стирая на ходу с лица нанесенные жженой пробкой усы.

С тех пор Лиза, встречаясь с Чеховым, каждый раз почему-то краснела.

4

Однажды Чехову случилось гостить в усадьбе некоей Федосьи Васильевны, пожилой женщины с сильно напудренным лицом и большими серьгами, которые оттягивали ей уши.

Усадьба находилась в Донецком бассейне. Всюду здесь велись разговоры о лежащем под землей угле, и эти разговоры, деловые и наполненные скучными словами, совсем не напоминали Чехову знакомые рассказы о таинственных кладах стеной земли.

В степи строились шахты. Рядом с могильными курганами вырастали фиолетовые горы шлака. Ястребы садились на телеграфную проволоку и уже равнодушно смотрели на проходящие поезда. У белых, разогретых стеним солнцем домиков поезда останавливались. На пустынную платформу выходил обер-кондуктор. Он долго смотрел на белый домик, на запленные травы, потом, сердито захлопнув крышку своих толстых никелевых часов, синистел в роговой синисток — и поезд нехотя шел дальше через бесконечную степь.

Федосья Васильевна была в хорошем настроении, потому что в степи строились железные дороги и от этого под-

нимались цепи на ее, Федосье Васильевны, землю. Но по вечерам, когда Федосья Васильевна сидела на балконе, лицо ее вдруг покрывалось красными пятнами и она, тряся серыми, торопливо уходила в комнаты. Федосью Васильевну очень беспокоило, что в доме зря горят свечи.

Чехов уехал от Федосьи Васильевны со слащавым вкусом во рту. Все дни она угощала его одним крыжовенным вареньем: крыжовник был свой и девать его было некуда.

По дороге домой Чехов выкупался в заросшей пышной осокой речке. После купания Чехов никак не мог согреться и чем дальше ехал, тем сильнее охватывал его пронизывающий холод. Вск, что он теперь видел перед собой — степь, возы с сеном, вербы, мельницы, — почему-то вызывало в нем нестерпимую тоску и казалось так же неприятно слащавым, как крыжовенное варенье. Он постарался закрыть глаза...

Очнулся Чехов в комнате с закопченным потолком и голыми стенами.

Возле Чехова стоял бледный человек в потертом черном сюртуке. Чехову хотелось понять, что это за комната и откуда взялся бледный человек в сюртуке, но едва он начал об этом думать, как почувствовал ту же душевную тошноту. Он постарался поскорее снова впасть в забытие.

Бледный человек в сюртуке был хозяин постоялого двора, еврей Мойсей Моисеич. Он помог доставить Чехова в Таганрог.

Чехов болел долго и тяжело. Приходил гимназический доктор Штремпф и посылал Мишку за патентованными пилюлями. Пилюли не помогали, и Евгении Яковлевне казалось, что Антоше уже не выжить.

Но он выжил. Медленно возвращались к Антону силы. Однажды он выглянул из окна на улицу. Дома, небо, деревья показались ему как будто кем-то нарисованными свежесвыдавленной краской.

— Антоша, если ты хочешь быть здоров... — говорил доктор Штремпф.

Чехов знал, что выздоравливает, потому что даже о Федосье Васильевне и крыжовнике он вспоминал теперь с улыбкой.

Штремпф задерживался у постели Антона. Он свертывал из рыжего табака папиросу, вставлял ее в янтарный мундштук и приступал к неторопливому рассказу о себе, о своей молодости, о том, как он учился в университете в Дерпте и стал врачом.

Антон решил, что тоже поедет в Дерпт и делается врачом.

Потому что теперь ему было хорошо, и в эти дни выздоровления он находил доктора Штремпфа самым чудесным человеком на свете.

Глава четвертая

1

Торговля у Павла Егорыча всегда шла неважно. Раньше, когда Павел Егорыч торговал в гостинном ряду, его теснили купцы Перушкин и Третьяков. Из-за них Павлу Егорычу пришлось, в конце концов, перебраться на Петровскую улицу, в район греческих кофеен.

Здесь дела пошли еще хуже. Греки заходили в лавочку не только ради какой-нибудь покупки, но и ради внимательного разговора. Павел же Егорыч с годами становился все более необщителен. Старых своих покупателей Павел Егорыч потерял, новых не приобрел, закахивали к нему в лавку только для того, чтобы купить какую-нибудь мелочь.

Когда к городу провели железную дорогу, Павел Егорыч решил попытаться счастья где-нибудь поближе к только что отстроенному вокзалу. Как известно, около вокзала люди вдруг ни с того, ни с сего начинают покупать всякую ненужную мелочь.

Но присяжные тратили свои деньги в ларьках у самого вокзала и до бакалей Павла Егорыча не доходили. А покупателей с соседнего, Нового базара, как и прежде, отбивали богатые оптовики.

Возвращаясь из лавки, Павел Егорыч жаловался на Титовых, купцов первой гильдии.

Антон хорошо знал, что Павел Егорыч — купец третьей гильдии.

Внизу, в лавочке всегда было пусто. Иногда только показывались ули-

ные мальчишки. Приходили они толпой, долго, не мигая, смотрели на леденцы, рожки и пряники, тайственно шептались между собой и, наконец, сложивши свои деньги в чью-нибудь одну руку, спрашивали шоколадку за шесть копеек с движущейся картинкой. Получив шоколадку, мальчишки убегали с такими страшными криками, что наверху, во втором этаже, Агафья Александровна испуганно крестилась.

Чтобы поправить дела, Павел Егорыч затеял постройку большого дома для сдачи в наем. Но денег на постройку дома нехватало, и Павлу Егорычу удалось построить только домик с трех окнах. В этом домике на Елисаветинской улице поселились сами Чеховы.

Появились неоплатные долги.

Особенно беспокоил Павла Егорыча вексель, по которому он получил взаймы пятьсот рублей. Теперь, когда Павел Егорыч по утрам отпирал замок на двери лавочки только потому, что не держать же ее запертой, насмех титовским приказникам, — эта сумма казалась ему громадной, невозможной. Все чаще в разговорах Павел Егорыч и Евгений Яковлевич упоминали о каком-то векселе.

Что такое вексель, дети совсем не понимали, но они улавливали, что это, во всяком случае, нечто зловещее, что вексель надо гасить, а если его не погасить, то вся семья лишится своего дома, как будто от непогашенного векселя дом мог сгореть.

Погасить вексель Павел Егорыч не смог. И дети услышали теперь уже разговоры не зловещие, а страшные — о яме, в которую посадят отца, если он не достанет пятисот рублей.

Павлу Егорычу пришлось объявить себя банкротом.

Несостоятельных должников в те времена сажали в яму — долговую тюрьму.

Однажды на рассвете Павел Егорыч поднялся с постели, торопливо оделся и вышел на улицу, от стыда, отчаяния и любви не попрощавшись с Евгением Яковлевичем, а только как-то странно махнув рукой.

Он скрылся из города на телеге и, боясь быть узнанным, лежал на ней, укрытый сверху рогожей. Со стороны

казалось, что на телеге везут пьяного или мертвеца.

На ближайшей железнодорожной станции Павел Егорыч сел в поезд на Москву.

Вряд ли он думал, что никогда больше не увидит Таганрога.

На Антона легли новые домашние обязанности. Рано утром Антон вставал и шел на базар покупать провизию на семью.

Случалось, что он возвращался с живой уткой. И он усмехался, если утка по дороге с базара домой тревожно крикала.

— Пускай все знают, что мы тоже кушаем уток.

Лето стояло жаркое. Гдс-то далеко позади города раздавались глухие раскаты грома, но грозы бушевали в степи и не доходили до Таганрога. Сожженные листья осыпали улицы. Ночи в комнатах были нестерпимы. Антон спал во дворе, прислонив подушку к сухому стволу дикого винограда. Он сам посадил этот виноградник и называл его смоковницей.

Как часто тяготило Антона присутствие отца! Но теперь, когда Павла Егорыча не было, Антону казалось, что без однообразных разговоров за обедом, без чтения вслух «Ведомостей таганрогского градоначальства», без долгого шелкания на счетах, без истовой молитвы и земных поклонов перед отходом ко сну, без отца со всеми его привычками, приятными или тягостными, но всегда такими знакомыми, — жизнь в доме как-то оборвалась и заглохла.

Она и в самом деле заглохла. Уже раньше, до бегства Павла Егорыча, перебрались в Москву Саша и Николай; младших Ваню и Мишу отослали к деду в Княжую, потому что кормить их дома было нечем. Агафья навсегда покинула дом, Евгения Яковлевича осталась одна с Антоном и Машей.

В комнатах было тихо, и эта тишина, непривычная, похожая на болезнь, говорила о том, что старое, вероятно, больше не вернется.

Сидя у себя, Антон прислушивался, как через стену стучала на швейной машинке мать. Стук этот иногда внезапно смолкал. Работа выпадала у

Евгения Яковлевна из рук, и она задумывалась. Она думала о том, что семью разметало во все стороны, что Павел Егорыч на полсжени чуть ли не беглого человека, что суд может из-за векселя отнять дом.

Она вспомнила, как Павел Егорыч бежал из дому. Воспоминание было такое тяжелое, что останавливало слезы.

В эту пору Евгения Яковлевна решила обратиться к жильцу Гавриилу Парфентичу.

2

Гавриил Парфентич снимал у Чеховых комнату с пансоном. Бывал он дома очень мало, так как с утра отправлялся на службу в коммерческий суд, а по вечерам также аккуратно, как на службу, куда-то уходил. Возвращался Гавриил Парфентич очень поздно, и это, пожалуй, было единственное, что могло бы давать Евгении Яковлевне основание жаловаться на жильца; но входил Гавриил Парфентич к себе тихо, старясь никого не будить, так что дома никто в точности и не знал, когда именно он возвращается. К тому же, когда бы Гавриил Парфентич нахалуне не вернулся, — к утреннему чаю он являлся всегда вовремя, с тщательно папوماженным пробором и улыбался какой-то неопределенной улыбочкой. И только протягивая жильцу стакан чаю, Евгения Яковлевна замечала, что у Гавриила Парфентича слегка дрожат руки, очевидно от бессонной ночи.

В разговоре Гавриил Парфентич любил употреблять непонятные слова. — Аребур! — отвечал он Евгении Яковлевне, отказываясь от добавочной котлеты.

А когда чем-нибудь восхищался, то вскрикивал: — Дамбле!

Слова эти были, видимо, французские, но не те, которым учила детей Чеховых француженка мадам Шопен.

Одинокая жизнь Гавриила Парфентича, его исчезновения по вечерам, странная манера выражаться — все это представлялось Антону немного таинственным. Не нравилось ему только, что Гавриил Парфентич назы-

вал Евгению Яковлевну почему-то мамашей.

— Я, мамаша, вроде как бы член вашего семейства!

И при этом улыбался своей неопределенной улыбочкой.

Однажды Антон, отыскивая затерявшуюся книгу Брет-Гарта, в отсутствие Гавриила Парфентича зашел к нему в комнату. Стены ее были украшены веерами с видами Японии, тарелками, photographиями каких-то женщин, сдетых почему-то в военную форму, книжками кавказской работы, портретом генерала Скобелева. Висел еще форменный мундир судейского ведомства, кисет для табака, ножницы для ногтей, и эти вещи тоже имели такой вид, как будто они повешены для украшения.

На письменном столе Антон увидел флакон с дешевыми духами и потрепанное «Новое руководство к модным карточным играм с объяснением всех правил и выражений, до них касающихся».

Антон вышел из комнаты с таким чувством, как будто нечаянно подсмотрел чужую тайну.

Между тем из своего пристрастия к картам Гавриил Парфентич не делал секрета. Он равномерно распределял свою жизнь между коммерческим судом, где за некрушное жалованье служил без особого успеха, и коммерческим клубом, где на это жалованье играл по крупной и почти всегда с успехом.

Судейская должность Гавриила Парфентича и удачная его игра в карты казались Евгении Яковлевне счастливым сочетанием обстоятельств. Дело в векселе на пятьсот рублей поступило как раз в коммерческий суд — и Гавриил Парфентич, конечно, мог бы помочь. А то, что Гавриил Парфентич крупно выигрывал в карты, вселяло Евгении Яковлевне надежду, что он, в крайнем случае, придет на помощь, если не поддержкой в суде, то своими деньгами.

— Для вас, мамаша, я сделаю все, — заявил Гавриил Парфентич, очень внимательно выслушав Евгению Яковлевну.

Евгения Яковлевна поверила в близкое спасение.

В один памятный Евгений Яковлев — не день Гавриил Парфентийч вернулся со службы позже обыкновенного. На губах его уже не играла знакомая неопределенная улыбочка, он был немного бледен и, закуривая папиросу, долго чиркал спичкой — руки у него слегка дрожали, совсем как по утрам после бессонной ночи.

— Я оплатил вексель, — сказал он глухим голосом, — и простите, мамаша... теперь это мой дом.

Он помолчал. Потом принялся объяснять ход процесса, употребляя при этом множество судейских выражений, словно с помощью этих чужих, казенных слов, старался успокоить свою совесть и представить перед Евгенией Яковлевной все дело как сложный и, главное, любопытный юридический случай.

Евгения Яковлевна слушала Гавриила Парфентийча и понимала только одно — что ей надо забрать своих детей и куда-нибудь ехать.

На завтра Гавриил Парфентийч привел какого-то незнакомого человека.

— Господин Костекко, — громко рекомендовал он его.

И со вздохом добавил:

— Господин Костенко был поручителем вашего супруга. Постановлением суда он имеет получить ваше движимое имущество в оплату процентов по векселю.

Господин Костенко потоптался на месте, зачем-то дотронулся концом трости до кресла и ушел.

К вечеру к дому подъехали подводы. Возники погрузили столы, этажерки, кровати, тумбочки и увезли их. Один только старый шкаф они почему-то не тронули.

Темные пятна на стенах — то было единственное, что напоминало теперь о вещах, стоявших давно, строго на своих местах, как будто привыченны.

Евгения Яковлевна решила ехать в Москву, вслед Павлу Егорычу.

Иван Федорович довез ее с детьми и узлами до вокзала.

Вокзал был маленький, похожий на степной полустанок, с усеянной шелухой платформой. Около тяжелого колокола сидел сторож.

Удары колокола, унылые и замирающие, заставили Антона вздрогнуть.

Домой Антон вернулся один.

Там уже хозяйничал Гавриил Парфентийч. С молотком в руках он перебегал из комнаты в комнату, прибивая к стенам свои картинки и веера.

Неопределенная улыбочка искажалась гвоздями, которые он держал во рту.

Чехов бесцельно прошелся по дому. На кухне ставни были очень белые. Только этой весной Антон, по просьбе матери, побелил их, и теперь свежесть стен показалась оскорбительной.

Шкаф красного дерева Гавриил Парфентийч выставил в прихожую, кроватку Маши свалил в чулан. Ставшие чужими в этом доме вещи как будто умерли, внезапно превратились в хлам.

Чехов собрал свое имущество — белье, стопку книг, чернильницу с медной крышечкой в виде жокейского картуза...

Белье он как раз недавно сам выстирал, но выгладить не успел, и поэтому оно заняло в корзинке много места.

Чехов решил перебраться к кому-нибудь из тетюшек. Кстати, у них можно будет попросить утюг.

Чехов уже уходил, когда его остановил Гавриил Парфентийч. Вынув гвозди из рта, он предложил Антону остаться.

Говорил он ласково. Чехов выложил обратно свои вещи из корзинки и остался жить в доме, на котором Гавриил Парфентийч повесил дощечку: «Дом Г. П. Селиванова».

Глава пятая

1

Три года прожил Чехов в Таганроге один.

Это были годы неотступной бедности, хождения по грошовым урокам и чудесных, впервые прочитанных книг. И это были годы легкого счастья, торопливых поцелуев в глубине гимназической аллеи или у калитки, в тот час, когда редкие гудки пароходов доносятся из гавани с неожиданной ясностью и напоминают среди ночи о море.

Надо было добывать средства к жизни.

Он стал репетитором — давал уроки гимназистам младших классов.

Один урок был далеко, за слагбаумом, на самой окраине города. Ходить туда было особенно неприятно осенью, потому что калош у Чехова не было. Садясь заниматься с учеником, он старался спрятать под столом свои ноги в покрытых грязью, рваных сапогах.

За этот урок Чехов получал три рубля в месяц.

Заметив, что его товарищ Срулев очень нуждается, Чехов предложил ему репетировать ученика за слагбаумом вместе.

Из трех рублей Чехов отдавал теперь полтора рубля Срулеву.

Принимая деньги, Срулев каждый раз смущался и кашлял. Лицо его покрывалось розовыми пятнами, как у чахоточного.

Впервые в жизни Чехов радовался сознанию своего здоровья.

Бедность мучила Чехова, как зубная боль. Пока ученик решал при нем арифметическую задачу, он мечтал о чае, горячем и сладком. И случалось так, что прислуга в самом деле ставила перед ним стакан чаю...

Чехову приходилось заботиться не только о себе. Из Москвы он получал письма от матери — и это были письма все об одном и том же — о нужде, которая придавила чеховскую семью.

Евгения Яковлевна делала очень много грамматических ошибок и от этого ее письма казались еще более жалкими и растерянными.

В одном из своих писем Евгения Яковлевна просила:

«Еще нам шубы нужны сегодня ночью шол снег, кровать продай Машинкину, а что за нее просить мы и сами не знаем как тебе бог поможет так и продай... Не останавливай присылай скорей наше нищество, пришли хоть с лободой если наше погнал, айвы хоть фун и орхов грецких, пожалуйста скорей присылай я простудилась без постели иседежи, деньги Митроф. егор. даст».

Антон рылся в чулане, отбирал то, что можно было продать, тащил на базар ведра и медные тазы, торговался из-за каждой копейки. И не всегда слушаясь Евгении Яковлевны, он, вместо того чтобы просить у Митрофана Егорыча, тратил на фунт халвы или пакетик грецких орехов свои собственные, всегда последние деньги.

Он часто думал об отце и матери, и эти мысли вместе с грустью вызвали в нем какое-то незнакомое ранее сознание своего превосходства.

Раньше он боялся отца и любил мать — теперь отца он не боялся, а судил, и к чувству любви к матери все сильнее примешивалось чувство жалости.

Он знал, что никогда не забыть ему нанесенных Павлом Егорычем обид, и его пугало холодное презрение, которое он ощущал при воспоминании о жестком слове и тяжелой руке отца.

И словно боясь отдать сердце во власть чего-то дурного и постыдного, он старался уверить себя в том, что отцом, в конце концов, руководила только любовь к своим детям. Рассуждая так, он освобождался от пугавшего его чувства презрения, и он уже думал о том, что когда-нибудь, а может быть, и очень скоро, сможет оказать родителям поддержку, и они получат тот покой, который заслужил всей своей жизнью.

Мелкие унижения нищеты рождали в Чехове мечты об удачной торговле, о том богатстве, что выпадало на долю многих таганрогских людей.

Однако времена, когда Чехов дежурил в отцовской бакалее, казались ему очень далекими. Крысиный запах мялочных лавчонок вызывал у него отвращение.

2

Для Павла Егорыча газета всегда являлась деловым документом, чем-то вроде денежной расписки или накладной на товар. Когда дети случайно рвали старую, уже прочитанную газету, Павел Егорыч багровел от раздражения.

Он зачем-то сохранял номера газеты за весь год и, никогда в них не глядявая, в то же время никому не позволял к ним притрагиваться.

Газеты загромождали чулан, желтели и пылились, но их не выбрасывали.

Воспоминания об этом были неприятны Антону. Все же он мечтал когда-нибудь стать подписчиком газеты. Это звучало по-взрослому и как будто заменяло аттестат зрелости.

Чехов подписался на московского «Сына отечества». Он гордился тем, что экспедитор в Москве наклеивает на газету этикетку с его адресом и указанием полностью имени-отчества фамилии.

К сожалению, чья-то небрежность наполовину испортила ему удовольствие. Он получал газету с этикеткой, на которой каждый раз было написано: «Антону Падловичу Чехову».

Гимназические товарищи не давали ему прохода с этим «Падловичем».

Все же он носил теперь высокое звание подписчика газеты и следил за событиями на театре военных действий по сообщениям «своей» газеты. Шла война с Турцией. «Сын отечества» подробно описывал подвиги русских войск.

Иногда Чехов заходил в городскую читальню посмотреть последние столичные газеты и журналы. Ему нравились карикатуры в юмористических журналах, анекдоты и шуточные стихи в «Стрекозе» и «Будильнике».

В одном рассказе Чехов прочел:

«Тургеневы бывают разные».

Эту фразу Чехов нашел очень смешной. Он запомнил фамилию автора рассказа: Лейкин.

В другом рассказе Лейкин описывал купцов в пасхальную заутреню, и Чехову казалось, что он видит перед собой знакомых таганрогских лавочников.

Лейкин часто заставлял Чехова громко смеяться. Посетители читальни сердито оглядывались на Чехова и шкали.

Из читальни Чехов уходил со страстным желанием издавать собственный юмористический журнал.

Ведь он уже много сочинял. В жаркие летние дни, лежа в саду под своей смороковницей, он придумывал сказку в стихах про какого-то Савраску. У Дросси разыгрывали его пьесы. Автор юмористической лекции о сотворении мира был он сам.

В гимназическом журнале «Досуг» он поместил два рассказа и едкое четверостишие на инспектора Дьяконова.

Для своего журнала он придумал замечательное название «Занка».

Рукописные номера «Занки» обходили всех знакомых и затем отсылались Антоном в Москву, Александру.

Александр в ответ сообщал, что «Занка» имеет успех даже в магазине купца Гаврилова — где служил по письменной части Павел Егорыч.

Впрочем, Александр, хотя и сам подписывал юмористические заметки, советовал Антону изучать Лермонтова, Гете и Гейне.

3

В библиотеке требовали залог в два рубля.

Внести их было очень трудно.

Чехов утешался тем, что летом перед отъездом куда-нибудь на каникулы он всегда сможет получить деньги обратно.

На два рубля можно было доставить себе множество радостей. Но еще больше радостей доставляла Чехову библиотечная квитанция.

Если театр был страстью чеховского детства, то книги были любовью чеховской юности. И книги, которые Чехов прочел, были пестры, как спектакли, которые он видел. Он читал путешествийника Гумбольдта и философа Шопенгауэра, социолога Бокля и критика Писарева, но чаще всего — Шекспира, Тургенева и Гончарова. За чтением этих книг он забывал о карикатурах и Лейкине, смутно чувствуя, что с поэзией скорее совместим неуклюжий юмор, чем расчетливое остроумие.

Любовь Чехова к книге была искренней и глубокой, но преждевременно спокойной. Слезы, пролитые над раскрытой страницей, как будто были ему незнакомы. Очень рано Чехов научился судить о книгах метко, но холодно.

С усмешкой прочел он одно из писем Миши. Старательным детским почерком младший брат сообщал Антону о волнении, испытанном при чтении «Хижины дяди Тома».

Антон ответил ему:

«Мадам Бнчер Стоу выжала из глаз твоих слезы? Я ее когда-то читал, прочел и полгода тому назад с научной целью и почувствовал после чтения неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшись не в меру изюму или коринки».

Вероятно, Миша ощутил уважение к брату, читавшему романы не для удовольствия, а с «научной целью», как и подбало гимназисту шестого класса. Ведь Миша помнил, как совсем еще недавно сам Антон трагическим голосом восклицал:

— Том, твоя рука еще сильна!

Теперь Антон изменился. Он впитал много горечи, и вкус коринки его уже не прельщал.

4

У Чехова был гимназический товарищ Новиков, сын театрального антрепренера. Знакомство с Новиковым открыло Чехову доступ за кулисы театра. Свернутые холщевые декорации, грязные и заплятанные, напоминали рыбачье паруса в штиль.

Каждая декорация имела свое особое название, иногда немного странное: «малороссийская изба», «дом, превращающийся в большой и малый вид», «трон из малинового кумача», «кит через всю сцену».

Была декорация, которая называлась «хижина Жоржас». Чехов думал, что она названа так по имени афишера. Однако Новиков с важным видом объяснил Чехову, что все эти названия старые и сохранились еще от тех времен, когда в театре играла крепостная труппа.

Кулисы были погружены в зеленоватый сумрак. Выбирая нужную декорацию, театральный машинист рассматривал ее при свете тусклого фонаря, который он ставил перел собою на пол. Со сцены глухо доносились голоса актеров. Они репетировали, заложив руки в карманы и подняв воротники пальто. Когда репетиция кончалась, актеры уходили из театра с запятыми и злыми лицами.

Если актер носил цилиндр и очень пестрые носки, то фамилия его почти всегда была Чарский. В таганрогском театре труппа сменялась почти каж-

дый год, и в каждой труппе был актер Чарский.

Все Чарские очень нравились Ариадне Черец, и это огорчало Чехова, потому что она нравилась ему самому. Как и другие гимназисты, он называл Ариадну Рурочкой и часто после окончания спектакля задерживался у театрального подъезда, чтобы увидеть ее. Но она всегда выходила под руку с господином в белом кителе и с хлыстиком. Почти все молодые чиновники или учителя гимназии, отправляясь в театр с Ариадной, обязательно надевали белый китель с металлическими пуговицами и брали в руки хлыстик — может быть для того, чтобы походить на офицеров.

Театр терял для Чехова свое таинственное очарование. Но, возможно, именно поэтому, Чехов, вместо того, чтобы сочинять для домашних спектаклей, писал теперь пьесы в расчете на настоящий театр, казавшийся уже доступным.

Чехов писал драмы, похожие на сочинения Бурдина, автора «Ограблений почты» — драмы, в которых герои произносили длинные проклятия и очень часто стреляли из револьверов.

Писал Чехов и водевили, стараясь придумать для них хлесткие названия. Один из водевилей он назвал: «О чем курица пела».

Драму «Безотцовщина» и водевиль «Нашла кося на камень» он послал на суд Александру.

Александр догадался, что драма очень плоха. Но водевиль отнес драматургу Соловьеву, автору «Жениха из ножевой линии».

— Со временем — кто знает? — может выйти великий писатель, — заметил Соловьев, прочтя водевиль.

Едва ли Соловьев подозревал, что фраза эта принесет ему со временем больше известности, чем все его женихи и тещи вместе взятые.

5

У Чехова был ученик Петя Кравцов, племянник Гавриила Парфентьевича.

Когда Петю впервые привели в Таганрог, он удивился, узнав, что собак надо кормить: в глухом степном углу, где люди, животные и растения

дичали с необыкновенной быстротой, собаки, злые, как волки, сами, по-волчьи, находили себе пропитание.

Из дому Петя привез ружье и большой запас пороха. Он расстреливал из ружья курц и пускал самодельные, туго набитые порохом шутихи. Таким образом, время в городе проходило незаметно.

Петин отец служил чиновником на Кавказе, и, может быть, поэтому Петя родной хутор называл «аулом полудиких народов».

И говоря так, Петя старался придать своему лицу то самое выражение, какое подсмотрел однажды у человека, что за деньги поедал на ярмарке живых голубей.

Чехов готовил Петю в юнкерские училище. На Елисаветинской они поселились в одной квартире.

Среди лета Чехов уезжал в гости к Пете на хутор.

Здесь жили они в маленьком домике с соломенной крышей, среди развешанных на стенах ружей, пистолетов, шашек и нагаек. В комнатах пахло селитрой, все подоконники были завалены патронами. Вокруг домика раздавалась непрерывная стрельба. Это жители аула диких народов расстреливали к обеду курц или же устраивали облаву на взбесившихся свиней.

Чехов садился на неоседланного жеребца и гнал его далеко в степь.

Она была все такая же, как и в дни поездок к дедушке. Все так же стояли посреди высоких трав древние каменные бабы, ползли стада овец, шумели бекасы, люди у ночных костров таинственными голосами рассказывали о свистящих арбузах и хохочущих щуках.

Из степи Чехов возвращался с мыслью о равнодушии жизни. Равнодушно было степное небо, долголетние гречи, мельницы, тополя. И даже люди у костров, выслушав одни из удивительных рассказов, лениво растягивались на земле и засыпали, не обращая внимания на негромкий бред птис...

Равнодушные степи не угнетало душу, а притягивало ее. В степи Чехов никогда не чувствовал того одиночества, которое так часто мучило его в

коридорах гимназии или у ворот селивановского дома.

Один в степи, даже ночью, он не ощущал страха. Потому что степь была большая и казалась всегда прекрасной.

6

На выпускных экзаменах Чехов едва не срезался по древним языкам.

Письменные работы по латыни игрецескому сдал по шаргалке.

Сняться на фотографии вместе с учителями никто из учеников не захотел. Чехов надел дешевый штатский пиджачок, широкий крахмальный воротник, черный галстук бабочкой и пошел к фотографу сам.

Товарищи спрашивали его, на какой факультет он поступит.

— Попом буду, — отвечал он смеясь.

Мечты о Дерпте были уже позабыты. Да и хотелось уже не в Дерпт, а в Москву, к семье. Его слегка мучила совесть. Он давно уже обещал Мише привезти дубаноса, но дубанос куда-то сбежал.

В мешанской управе Чехову выдали вместо паспорта билет для жительства в губерниях России. На случай необходимости полицейского опознания в билет аписали приметы Чехова. Письмоводитель, осмотрев Антона, признал его волосы русыми, глаза светлокариыми, нос, рот и подбородок умеренными, а лицо — продолговатым и чистым.

В графе «особых примет» письмоводитель отметил: «под волосами шрам».

Купаясь как-то в море, Чехов ударился о камень и рассек себе лоб.

Чехов прощался со всем дорогим и ненавистным, что выпало ему за девятнадцать лет жизни, — с театром, лавочкой, степью, гимназией.

Только об одном учителе Чехов вспоминал с теплотой. Это был заочный учитель Покровский.

Вместо священнической истории на уроках Псковского говорили о Шекспире, Гете, Пушкине. Покровский не только не шпионил за учениками, нередко он укрывал их у себя от преследований полиции.

Покровский был поклонником Щедрина и старался внушить Чехову ин-

терес к произведениям знаменитого сатирика.

Глаза у Покровского всегда смеялись. Он любил рассказывать анекдоты. Чехову иногда казалось, что перед ним не священник, а гусар, ради шутки надевший на себя рясу.

Покровский вызывал Чехова к доске так:

— Че-хон-те!

Странное прозвище осталось за Чеховым.

Перед отъездом Чехов в последний раз зашел к тетушке.

Сколько раз приходил он к ней, когда жизнь дома казалась нестерпимой.

Тетушка плакала:

— Не горюй, — сказал ей Чехов. — Поеду в Москву, буду доктором. Будем, будем жить по-человечески!

Глава шестая

«Будущие доктора, с более свободными манерами и сохраняющие, благодаря характеру своих занятий, большую или меньшую жизнерадостность, как бы в оплату за постоянную возню со смертью...»

Альфонс Додэ

1

На столе у гимназистов Чеховых рядом с «Детями капитана Гранта» лежала ветхая книга — сборник «Пчела». Братья любили рассматривать в «Пчеле» рисунки с изображением Кремля и Сухаревой башни. Это была Москва, очень далекая, отдаленная степью, через которую путешествовали на волах.

Впервые побывал Чехов в Москве, когда шестнадцатилетним гимназистом приехал на зимние каникулы.

Александр водил его по городу. Чехов увидел грязнозеленые и красные дома, рваных извозчиков, желтые от сена и навоза площади. В окнах съестных лавок висели длинные гирлянды сушеных грибов; леденцы в разноцветных обертках напоминали об отцовской лавочке в Таганроге... Скрипели по снегу возы с клюквой и сметками, возчики шли рядом с возами, крича и размахивая вожжами.

Чехов старался запомнить вид главных улиц и знакомых по рисункам зда-

ний, но чувствовал, что запоминает только вывески — бесчисленные золотые кренделя, синие очки, военные мундиры, гробы, сахарные головы, бильярдные, сорочки и рога изобилия, из которых сыпались конфеты, грешки и игральные карты.

Александр был уже студентом или тератором. В юмористических журналах изредка появлялись его рассказы и фельетоны. Подписывал он их так: Агафопод Единичин.

Александр вел жизнь, которую Антон находил почти фантастической: посещал лекции в университете, засиживался без дела в редакциях, получал гонорары, посещал первые представления в театрах, о семье говорил с усмешкой и как о чем-то далеком, его не касавшемся.

Он носил цилиндр и, раскланиваясь с кем-нибудь, со значительным видом поглядывал на Антона.

Александр полагал, что за эти годы изменился только он один. Ведь он, Александр, сделался столичным литератором, в то время как Антон остался все тем же таганрогским гимназистом.

Но Антон как будто не замечал ни цилиндра, ни сашиных взглядов. Это раздражало Александра. На одной из прогулок он поравнялся с какой-то старухой и рыгнул ей прямо в лицо.

Старуха испуганно отшатнулась.

— Ты все еще такой же ашара, как и был, — тихо произнес Антон.

Александр принял эти слова за похвалу.

Москву, о которой мечтал Чехов, он узнавал только по вечерам. В красном закатном небе темнели острые кремлевские башни. Зимний воздух наполнялся протяжным звоном колоколов. Из окон магазинов падал яркий свет и зажигал веселым блеском уличные сугробы. У подъездов театров торжественно вспыхивали фонари.

С волнением подошел Чехов к кассе Малого театра. Билеты оказались только в первом ряду. Он долго колебался, подсчитывал деньги, пока, наконец, решился.

Седой капельдинер в расшитой livрее строго посмотрел поверх очков на Чехова и сказал:

— Шапочку снимите-с.

Чехов смущенно грошел через весь шартер к своему месту и сел, поджав ноги в заплатанных сапогах. Театр погрузился в золотистую полутьму. Поднялся занавес.

Он не посмел в атракте подняться с места и просидел весь вечер неподвижно. Недавние восторги, испытанные на «Хижине дяди Тома», показались ему чужими.

И вот теперь, через три года, Чехов перебрался в Москву, оставив родину надолго, может быть, навсегда.

Он приехал как-то неожиданно, никем не встреченный. В осенний солнечный день к воротам дома по Драчевке, громыхая железом ободьев, подъехал извозчик. С пролетки сошел высокий молодой человек с новой корзинкой в руках.

На лавочке у ворот сидел маленький гимназист.

— Здравствуйте, Михаил Павлович! — сказал молодой человек с корзинкой и засмеялся.

2

Он поселился в одной комнате с Мишкой.

На рассвете, в пять утра, Мишка подымался, чтобы идти на Сухаревку закупить на день провизии — подешевле, с крестьянских возов.

Николай спал до полудня: отца не было, он жил в Замоскворечье, у нового своего хозяина купца Гаврилова.

Чехов ходил по знакомым комнатам.

В домике на Елизаветинской с каждой вещью были связаны бесконечные воспоминания детства. В квартире на Драчевке дешевые, купленные по случаю стулья, комоды и кровати выглядели равнодушно.

В комнатах пахло сырым бельем. Стоял полумрак, августовское утро казалось похожим на зимний день.

Напившись чаю, Чехов, по детской привычке, выбежал на улицу.

В Таганроге, выбежав на улицу, можно было вдыхать запах садов и моря, рассматривать приплывшие в гавань корабли, угадывать затуманенные

азовские берега, слышать скрипучие голоса чаек, следить полет коршунов, иногда по ошибке залетающих из степи в море. Ошибиться ведь так легко: степь лежала под ними голубоватым морем, а море казалось бледнозеленым, как степь.

Теперь Чехов видел перед собой крутой спуск переуллка, ряды тяжелых тумб, открытые настежь двери парадных. Над татарской мясной лавкой висело изображение конской головы с огненными ноздрями. За мясной лавкой тянулся дровяной склад.

Чехов отправился на Мохувую, в университет. Он долго шел по закопченным коридорам. От железных плит полов веяло холодом и скукой. Обитая рваной клеенкой дверь вела в канцелярию.

Чехов подал на медицинский факультет.

3

По воскресеньям из Замоскворечья приходил отец.

На Драчевке ему не нравилось. Когда семья переехала в Москву к Павлу Егорычу, он завел старые таганрогские порядки.

Для детей Павел Егорыч составил письменное «Расписание делов». Сочинял его долго и с таким выражением, как будто выводил сложный баланс. Получилось не очень грамотно, но внушительно:

«РАСПИСАНИЕ ДЕЛОВ И ДОМАШНИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»

для выполнения по доброту семейства Павла Чехова, живущего в Мос. во.

Николай Чехов 20 лет	Встает от 5—7 и по усмотрению и внутреннему наведению
Иван Чехов 17 лет	По хозяйственному наблюдению и согласно ему расписанию.
Михаил Чехов 11½ лет	Хорожене исползгательно в церковь ко всенощному бдению в 7 час. и ранняя обедня в ¼ час., к поздней в 9½ по праздникам.
Мария Чехова	Утвердил отец семейства для исполнения по расписанию. Отец семейства Павел Чехов.

Несовершеннолетний подвергается сперва выговору, при коем кричать воспрещается».

Расписание Павел Егорыч повесил на стену.

Мишка проспал как-то лишних семь минут.

— Ты встань и посмотри на расписание, не пора ли тебе вставать, если еще рано, так и поди опять ляжь, — заметил Павел Егорыч.

Он не шутил.

Это был выговор. Вскоре последовали и предусмотренные «расписанием делов» наказания.

Иван нарушил какое-то правило по хозяйственному наблюдению. Отец выволок его во двор и принялся жестоко избивать.

Иван закричал. Сбежались жильцы.

— В случае, если повторится, позволите вам съехать, — заявил Павлу Егорычу домовладелец.

А ведь дворы московских трущоб были привычны ко многому. Павел Егорыч смутился.

Недаром внес он в «расписание делов» пункт о запрещении кричать при наказании. Здесь был не Таганрог, кругом — люди, в самом деле мог случиться скандал...

Москва отнимала от Павла Егорыча часть родительских прав. Да и дети становились взрослыми, выходили в люди. Это и радовало Павла Егорыча и как-то оскорбляло его. Дети выходили в люди не так, как ему хотелось, — больше обязанные самим себе, чем отцу.

Давно уже Павел Егорыч махнул рукой на Александра. Жил все больше по собственному усмотрению, чем по внутреннему направлению, Николай. Кончал гимназию Иван, оставались Миша и Маша.

Но главное — самому Павлу Егорычу пришлось отойти от семьи. После долгих мытарств он получил, наконец, место по письменной части у купца Гаврилова. Жалование Гаврилов платил Павлу Егорычу тридцать рублей в месяц, с бесплатными харчами и жильем в Замоскворечье.

Павел Егорыч перебрался в Москву жить в компании с гавриловскими приказчиками. Семью навещал только в праздничные дни.

Тридцать рублей на семью не хватало. Все лишнее давно было продано. Евгения Яковлевна занялась шитьем.

Зарабатывал Николай своими рисунками. Даже Мишка что-то получал за переписку студенческих лекций.

Выходило так, что Павел Егорыч своими тридцатью рублями только вносил в семью какую-то свою долю.

На лице его появилось выражение неопределенной насмешки. И с этим неопределенно насмешливым выражением он, придя домой, окидывал взглядом по-новому расставленную мебель, садился к обеденному столу, выслушивая семейные новости.

Когда в Москву приехал Антон, Павел Егорыч еще сильнее почувствовал свою отчужденность от детей.

С неожиданной твердостью Антон отстаивал теперь то, что считал справедливым.

— Это неправда! Не надо лгаты! — резко замечал он в разговорах с отцом.

И Павел Егорыч умолкал.

«Расписание делов» уже не висело на стене.

4

Начался учебный год.

Сторож у ворот университета поднял картуз и поздоровал:

— С первоначатьем!

Чехов ходил на лекция, проводил долгие часы в анатомическом театре, глуша дешевыми папиросами трупный запах.

На смену «Дон-Кихоту» и «Фрегату Паллада» пришли медицинские учебники.

На этажерке у Чехова появился человеческий череп.

Из Таганрога Чехову прислали небольшую стипендию. Он отдал все деньги матери, оставив себе только несколько рублей на расходы.

У него был один расход, от которого не хотелось отказаться. Каждую неделю по дороге из университета на Драчевку Чехов покупал у газетчика «Стрекозу».

Журнал с разноцветными рисунками переходил дома из рук в руки и потом валялся на столе у Антона, между учебниками и записями лекций.

На последней странице «Стрекозы» печатался отдел «Почтовый ящик». В нем помещались ответы на присланные в редакцию рукописи.

С безвестными авторами не церемонились. Появлялись такие ответы:

«Примите касторового масла вместо гонораара».

С некоторого времени Чехов стал просматривать «Стрекозу» с конца.

Однажды Чехов в «Почтовом ящике» нашел ответ для себя:

«Москва, Драчевка, г. А. Ч.-ву. Совсем недурно. Присланное поместим. Благословляем и на дальнейшее подвигничество».

С нетерпением ждал Чехов появления в «Стрекозе» своих рассказов.

Ждать пришлось целый месяц. Наконец, в свежем номере «Стрекозы» Чехов нашел свои вещи. Одна называлась «Письмо донского помещика Степана Владимировича N к ученому соседу д-ру Фридриху», другая: «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. д.?».

В последней вещи высмеивались произведения бездарных писателей, где обязательно встречается графиня со следами бывшей красоты, сосед — барон, музыкант — иностранец, немец — управляющий, белокурые друзья и рыжие враги, доктор с озабоченным лицом, тетка в Тамбове, преданный слуга...

Чехов остановился посреди улицы и прочел оба рассказа, боясь наткнуться на какую-нибудь опечатку. Но все было напечатано так, как он написал. И подпись была в порядке: «Антоша».

Домой Чехов пришел с озябшими пальцами. Он показал журнал Евгению Яковлевне.

— Ну, теперь я сам буду платить за Мишу в гимназию!

Голос его дрожал от волнения.

5

Начало в «Стрекозе» было удачным. Чехов усердно посылал в журнал новые вещи. Часто их отвергали. В «Почтовом ящике» журнала Чехов находил для себя следующие ответы:

«Ужасный сон только тем и ужасен, что невозмутимо повторяет всем надоевшие темы».

«Несколько строк не искупают непроходимо пустого словотолчения».

«Поргрета» не поместили. Он до нас не касается».

«Очень длинно и бесцветно. Нечто вроде белой бумажной ленты, китайцем изо рта вытянутой».

— «Не расцвев, увядаете. Очень жаль».

Чехов почувствовал себя уязвленным. Особенно обидным показалось ему это «не расцвев, увядаете». Он решил в «Стрекозу» больше не писать.

Чехов отправился в журнал «Зритель». Издавал его некий Давыдов, владелец модной мастерской.

Редакция помещалась на Страстном бульваре, против стен монастыря.

Робко вошел Чехов в редакционное помещение.

На него пахнуло едкой смесью типографской краски и азотной кислоты. Посреди комнаты стояли три обмозванных смолой ящика. Вокруг ящиков вознялся Давыдов. Он накатывал черной краской куски цинка и потом долго разглаживал оттиски клише. Каждый раз, когда Давыдов подносил к глазам свежий лист, на лице его появлялось какое-то детское выражение страха, удивления и восторга.

— У нас будет двадцать тысяч подписчиков! — восклицал он, не замечая, что клише ложилось на бумагу грязным студнем.

В углу на продранном диване сидело двое. Один из них, с небритыми сизыми щеками, отрекомендовался:

— Стружкин. Поэт и актер. Стихи за подписью Шило — читали?

Другой, в засаленном сюртуке, украшенном университетским значком, назвался Озерецким, адвокатом без практики.

Это были главные сотрудники «Зрителя». Они просиживали целые дни в редакции, дымили скверными папиросами, пили чай, изредка подсовывая Давыдову какой-нибудь «материал».

Чехов слушал болтовню бывшего актера и безработного адвоката, наблюдая возню Давыдова с клише, и с наслаждением вдыхал воздух редакции, «настоящей» редакции столичного журнала.

Вместе с Чеховым в редакцию появились его старшие братья Александр и Николай.

«Зритель» превратился в журнал братьев Чеховых. Страницы его заполнялись рисунками Николая Чехова,

рассказами Антоши Чехонте и Агафопода Единичина.

Рассказы Антоши Чехонте и Агафопода Единичина были грубые и натянутые, рисунки Николая Чехова — изящные и живые.

Николай зарисовывал для журнала Кузнецкий мост, зрительный зал Большого театра, народное гулянье в Сокольниках, студенческое пиришество в Татьянин день, Пассаж на Петровке, семейный летний сад, концерт в Благородном собрании, каток на Патриарших прудах — и в этих быстрых, острых и смешных рисунках карандашом или тушью Николай запечатлевал не только дома, вывески, кареты, моды, но и самый дух старой Москвы¹.

С некоторым удивлением Антон замечал, что рисунки Николая удивительно похожи на натуру, уродливую московскую натуру, и в то же время — грациозны.

Рассматривая рисунки брата, Антон думал о том, что некрасивое несколько не реальнее красивого.

Эта простая мысль казалась ему истинной, важной для всякого, кто хочет создавать нечто свое в искусстве.

Однако, когда сам он пробовал писать красиво, получалось что-то совсем несообразное, напоминавшее безграмотный перевод иностранного романа.

Очевидно, эта истина заключала в себе какую-то тайну, — тайну большого таланта.

Это было открытие, важное для Антона, но не для читателей «Зрителя». Продажа журнала не шла, журнал погибал, и это чувствовал даже Давыдов.

В один прекрасный день Давыдов напечатал в журнале сообщение, что издание «Зритель» временно прекращается, так как художник Н. Чехов заболел глазами.

Деньги немногих подписчиков остались у Давыдова.

¹ Когда уже после смерти Антона Павловича Чехова Художественный театр поставил его драму «Иванов», режиссер обратился к старым комплектам юмористических журналов. По забытым рисункам Николая Чехова театр воссоздал атмосферу отошедшей в историю эпохи.

Началось хождение Чехова по юмористическим журналам.

Он придумал для себя более десятка псевдонимов. Это был как бы гардероб, в котором Чехов выбирал себе наряд, смотря по обстоятельствам.

Большинство псевдонимов звучало разухабисто:

Вспыльчивый человек, Балдастов, Брат своего брата, Врач без пациентов, Антонсон, Человек без селезенки...

Так были приняты. Другие стеснялись еще меньше.

Товарищ Чехова, Сергееenko, писал в «Будильнике» под псевдонимом Эмиль Пуп.

Псевдоним был чем-то вроде маски клоуна: чем грубее, тем лучше, лишь бы не походил на нечто обыкновенное.

Под некоторыми рассказами Чехов подписывался Антошей Чехонте.

Эта подпись появлялась обычно под вещами подлиннее и сделанными потщательнее. Казалось, Чехов питал какую-то нежность к своему гимназическому прозвищу и дорожил им.

Чеховские псевдонимы замелькали в «Будильнике» и «Москве», в «Стрекозе» и «Сверчке», в «Мирском толке» и «Свете и тенях» — во всех юмористических журналах того времени.

Нужда заставляла Чехова писать непрестанно, торопясь, наотмашь. Чуть ли не каждый день приходилось ему нести в редакцию новую вещь. Чехов писал юмористические рассказы, сценки, театральные рецензии, судебные отчеты, сочинял подписи к рисункам, смешные объявления, шарady, вопросы и ответы, космические примечания к календарю, газетные передовые, подделки под иностранных авторов...

Шутя он говорил:

— Я перепробовал все, кроме стихов и доносов.

С жадностью искал Чехов повсюду темы. Искал в газетной хронике, у знакомых репортеров. Объявил дома, что станет платить за каждую выдумку гривенник, а за полный сюжет для рассказа двугривенный.

Михаилу иногда удавалось получать от старшего брата этот литературный гонорар.

И все же Чехов не мог побороть нужду. Приходилось то и дело носить вещи в ломбард. Иногда выручала золотая турецкая лира, каким-то образом попавшая к Чехову. — Ее тоже можно было заложить.

Но тяжелее нужды были унижения. С молодыми литераторами в редакциях обращались, как с бедными просителями. Иных редакторов Чехов знал только по спинам.

— Не принят, — педил сквозь зубы редактор, не считая даже нужным в разговоре с безвестным автором повернуться к нему лицом.

В одних журналах требовали писать покороче, в других оценивали рукописи на вес.

— Что? Это называется произведение? — презрительно сказал Чехову один редактор. — Нет, нам таких штук не надо.

И, усмехнувшись, добавил:

— Эх вы, Че-хо-вы!

Вероятно, редактору показалось очень смешным это «Че-хо-вы!».

Трудно было пристроить рассказ, еще труднее было за напечатанный рассказ получить деньги.

Чехов в шутку называл свои юмористические мелочи сметками. Цена на них была немного выше, чем на те сметки, что продавались в лавках. Платили Чехову копеек пять за строчку. За целый рассказ получалось рублей шесть-семь. И ходить за ними приходилось к редактору по многу раз.

Отправлялись авторы за гонораром компанией — так было внушительнее. Ловили редакторов на дому.

Приходили к редактору «Будильника» Курепину на квартиру:

— Дома?

— Дома. Просит вас подождать.

Братья-писатели усаживались в передней. Ждали час, другой. Потом, выйдя из терпения, начинали колотить в стенку.

На стук появлялся заспанный малый с луком в волосах.

— Вам кого? — с удивлением спрашивал он.

— Курепина!

— Вот хватилысь!.. Да уж он уехал давно.

— Как уехал?

— Да так: вышел с черного хода,

сел на лошадь и уехал. Говорили: пусть зайдет как-нибудь после, ночью мне некогда.

И вся компания уходила ни с чем.

Так позже вспоминал об этих хождениях за гонораром один из друзей Чехова — Лазарев-Грузинский.

В газете «Новости дня» Чехов печатал свой роман «Драма на охоте». За него платили Чехову каждую неделю три рубля медяками из выручки, которую приносили с улицы продавцы газет.

Однажды издатель отказался выдать и эти деньги.

— Нет у меня трех рублей. Может быть, вы билет в театр хотите или новые брюки? Тогда сходите к моему портному и возьмите у него брюки за мой счет...

Издатель «Московского листка» Пастухов расплачивался с сотрудниками в пивных или же в бане. Там, намылившись и попарившись, начинали долгие денежные споры...

Всеи сотрудникам Пастухов говорил «ты». Главным родом в литературе он признавал отцы о пожарах.

Пастухов повел в трактир Чехова — завлекать в свою газету. Он предложил Чехову за строчку шесть копеек.

Чехов наотрез отказался.

— Лучше без штанов на визит отправиться, чем работать у него! — воскликнул он.

У Антоши Чехова была своя твердость — и она его спасала.

7

В «Будильнике» Чехов познакомился с Федором Федосенчем Попудогло.

Попудогло принадлежал к числу тех литераторов, чьи произведения никогда не печатались сразу, а долго лежали в столе у редактора и в конце концов появлялись где-нибудь на предпоследней странице, заменяя выкинутый цензором рассказ.

Попудогло сотрудничал в юмористических журналах давно. Он хорошо помнил молодость писателей, когда-то работавших в «Будильнике» и потом ставших известными. Сам же он, не имевший известности, казалось, никогда не имел и молодости.

Было нечто грустное в том, что Фе-

досекч, этот преждевременно постаревший человек с тихим голосом и усталой улыбкой, человек нездоровый, занимается юмористическим ремеслом, зарабатывает на жизнь себе и детям тем, что придумывает подписи к карикатурам, сочиняет комические объявления, записывает подслушанные где-нибудь анекдоты. И все же трудно было представить себе Федосеича без «Будильника». Он приходил в редакцию с утра, перечитывал гранки, беседовал с метранпажем, шел в комнату для художников и молча, с каким-то детским любопытством наблюдая, как на картоне рождался быстрый журнальный рисунок...

Чехов подружился с Попудогло. Вечерами он приходил к Федосенчу и слушал его рассказы.

То были рассказы о людях, которые когда-то верили в свой талант и в свое будущее, но незаметно из «подающих надежды» литераторов превращались в опустошенных кляч, уныло тянувших груз мелкой поденной работы.

Одни из них все еще обманывали себя какими-то надеждами; другие спохватывались; мысль о том, что жизнь прожита напрасно, оглушала их, как выстрел, но было поздно, ничего уже нельзя было изменить...

— Главное, не ждать, — говорил Федор Федосенч. — Время бежит ведь так быстро! Прошел год-другой, прошел незаметно, а потом, видишь — судьба писателя решена! Поймите это, голубчик, поймите — и не полагайтесь на будущее!..

И, тяжело вздохнув, Федор Федосенч умолкал...

От Федосенча Чехов уходил поздно. Он медленно шел по глухим улицам.

Домой Чехов приходил ночью, когда уже все спали. А назавтра почему-то не хотелось говорить о вечере у Федора Федосенча. Как-то незаметно хождения Чехова к Попудогло превратились в маленькую тайну. Чехов ревниво ее оберегал — сам не зная почему.

8

Зимним днем Чехов шел по Тверскому бульвару.

У здания сыскной полиции он увидел странное зрелище. Улицу загрохотали десятки горбатых извозчиков,

Горбуны мрачно оглядывались друг на друга и, нехотя, по привычке, хлопотывали рукавицами.

— Любопытное происшествие-с, — услужливо объяснил Чехову какой-то мешанин в промасленном картузе. — Явилась в полицию приезжая дамочка и кричит: «Вещи мои угнал извозчик с горбом!» Теперь вот согнали со всей Москвы горбатых извозчиков... Во-на, побеле тридцати будет!

Чехов рассмеялся. Наконец, он нашел тему.

Целый день он провел в тоскливых поисках. С утра схватился за московские газеты. В хронике сообщалось об убийстве мастерового и дебоше пьяных купцов. Убийство мастерового не было смешным, а заметки с пьяных купцов давно надоели.

Чехов отложил газеты и отправился в город. Зашел в мировой суд и зоологический сад.

В камере судьи он застал одного только дворника с бляхой. В зоологическом саду попрежнему кормили слона грязным сеном, но слон еще был жив. Из зоологического сада Чехов отправился на Кузнецкий мост в подвальчик «Венецию». Здесь обычно собирались московские газетчики и маленькие литераторы. Он надеялся у кого-нибудь из них перехватить последнюю городскую новость.

Но в «Венеции», как и зло, Чехов никого не нашел. В углу стояли полувые и лениво переговаривались между собой. В эти пустые часы они напоминали актеров на дневной репетиции.

Чехов убеждался, что не так легко составить фельетон — обозрение московской жизни. Он взялся за этот фельетон для Лейкина, издававшего в Петербурге юмористический журнал «Осколки».

Московские обозреватели из месяца в месяц жевали одни и те же избитые темы о плохих мостовых и грязных скатертях в ресторанах. Работа эта вводила тяжелую тоску даже на самих фельетонистов. Никто из них долго не выдерживал. Одни убегали в провинциальные акты, другие отключали мелочные лавочки, стараясь как можно скорее забыть о своем литературном прошлом.

В одном из своих фельетонов Чехов написал об уродливом покое Москвы.

Эта фраза безвестного молодого фельетониста была меткой и злой, как будто принадлежала Щедрину.

Уродливый покой Москвы заставил Чехова писать о том, о чем сотни раз уже писали его предшественники: о безграмотных объявлениях, провалившихся мостовых, тараканах в булках, пьяных трактирных драках, таратящих свадебных каретах.

Это было тягучее месиво унылых мелочей.

Иной раз в Чехове закипал гнев и ему хотелось писать совсем о другом... Но он помнил о царской цензуре.

Юмористические журналы старались избежать опасных тем и не затрагивать правительство. И все же журналы непрерывно подвергались жестоким погромам.

Дело доходило до невероятных курьезов. Цензор вычеркивал из рассказов слово «кокарда» — это будто бы могло задеть честь царской армии. Запрещалось употреблять слово «лысый», ибо в нем усматривался намек на царя, лысого Александра III.

Не раз запрещала цензура и «Осколки московской жизни». Красный карандаш цензора перечеркивал сверху донизу чеховскую рукопись.

Лейкин слал Чехову жалобные письма.

— Ближе время, когда даже чин «купец» станет недозволениым фруктом, — отвечал ему Чехов.

Свои фельетоны Чехов называл куплетцами.

В этом слове звучало пренебрежение к собственной работе, даже презрение к ней.

Сколько раз он бродил по Москве, вновь убеждаясь, что жизнь ее бледна и тускла. После дня беготни Чехов ночью садился за корреспонденцию для «Осколков», писал горючливо, с издерганными репортерскими нервами и, кончив, относил на Николаевский вокзал, к утреннему поезду в Петербург.

Глаза у него слипались, как будто смазанные клеем.

9

В 1885 году «Будильник» отпраздновал свой двадцатилетний юбилей.

Чехов был старше «Будильника» только на пять лет.

Редакция устроила юбилейный банкет. Прозносились речи. Сотрудники юмористического журнала изощрялись в застольном остроумии. С речью выступил и Антоша Чехонте. Это, кажется, был единственный случай за всю жизнь Чехова, когда он выступил с официальной речью на банкете.

Речь Чехова прозвучала неожиданной печалью.

Он говорил о том, что каждый год, и почему-то непременно осенью, юмористы хоронят кого-нибудь из своих товарищей. Сотрудники юмористических журналов вымирают, точно индейские племена, и поневоле оставшимся в живых хочется бежать в частные поверенные или нотариусы, — или еще подальше — в кондуктора, в почтальоны... Говорил он и о тех, которые не умирали и не дезертировали из юмористических журналов. Сколько из них теряли свой талант, молодость, свежесть, тупели и превращались в унылых редакционных кляч!

— И все эти смерти, дезертирства, отупения и прочие метаморфозы происходят в удивительно короткий срок.

Право, можно подумать, что судьба принимает пишущих за коробку спичек!.. Но что наиболее всего смущает меня, так это то, что та же самая недолговечность является системой жизни тяжелой, нездоровой.

Чехов говорил о своих друзьях и о самом себе.

Он писал чуть ли не по рассказу в день и все же не мог побороть нужду. Он успел, несмотря на скоротечность, создать уже немало чудесных маленьких рассказов, но никто не признавал его настоящим писателем. Он оставался газетчиком, журналистом, сотрудником юмористических изданий — и только.

Когда Чехов задумал выпустить сборник своих рассказов, ни один издатели не взялся напечатать книгу безвестного автора. Для издателей Антоша Чехонте был литературным поденщиком, поставщиком юмористического

товара, который можно было купить за трехрублевку или небрежно сунуть обратно его владельцу.

Чехов решил напечатать книгу на собственные деньги. Он отнес рукопись в типографию вместе с чудесными иллюстрациями Николая.

Но денег нехватало. Сборник остался ненапечатанным.

— Путь пишущего усыпан не розами, а гвоздями, — говорил Чехов.

Вокруг него было много талантливых литераторов, карикатуристов, музыкантов, актеров. Очень рано Чехов достиг тот закон, по которому из сотни начинающих и подающих надежды только двое-трое пробивают себе дорогу. Ибо только эти двое-трое готовы были ради своего призвания жертвовать в жизни всем.

Были минуты, когда Чехов сам удивлялся, почему он не бросает свое журнальное ремесло.

У него не было угла, где он мог бы сосредоточиться хотя бы на минуту. Чехов писал на людях, присев где-нибудь у края стола, на подоконнике, писал быстро, почти никогда не перебывая.

Дома велись шумные разговоры, шипела кем-то заведенная музыкальная шкатулка, Павел Егорыч, по старой своей привычке, читал что-нибудь вслух Евгении Яковлевне...

Чехов писал. Рассказы выходили иногда очень смешные.

И это было самое удивительное.

Веселость не покидала Чехова. Она охраняла чеховский талант, она и была в ту пору этим талантом.

10

— В конце концов, сколько бы вы, милостивые государи, ни выслушивали, ни выстукивали, вы никогда не сможете безошибочно определить болезнь, если не прислушаетесь к показаниям самого больного.

Профессор на мгновение остановился и обвел глазами студентов. Потом, улыбувшись, продолжал:

— Каждому из вас, вероятно, известны имена знаменитых наших медиков, которые признают только молоточек и стетоскоп. Когда больной начинает говорить им о своей болезни,

они хмурятся и холодно его обрывают. Они как будто боятся, что больной своими ошибочными показаниями собьет их с толку. Но вам следует учиться трудному искусству исследовать не только работу органов больного, но и его душевное состояние. Ибо состояние души несхоже при различных болезнях. И только тогда, когда вы этому научитесь, вы сможете считать себя настоящими врачами, а не коновалами.

В коридоре затрещал звонок. Лекция была окончена. Студенты шумными аплодисментами проводили своего любимого профессора Захарына.

Чехов вышел на улицу. По багровому закатному небу с шумом проносились стан галок. Стоял февральский день, один из тех дней, когда по каким-то трудно определенным признакам в воздухе ясно ощущается приближение весны.

Ити домой не хотелось. Можно было бы заглянуть в одну из редакций. Но почему-то сегодня, после лекции Захарына, особенно интересной и увлекательной, мысль о редакциях и о том, что в ближайшие дни обязательно надо написать очередной фельетон, была Чехову неприятна. И он радовался тому, что кончает университет. Он сможет заниматься своим делом, не тратя время и нервы на дустую и утомляющую работу газетчика и сотрудника юмористических журнальчиков. Он будет практиковать, и, конечно, станет известным врачом.

Хорошо сделаться детским врачом. Иметь дело с детьми приятнее, чем с жалующимися на одышку купцами или страдающими нервами барыньками.

Но еще интереснее заняться не медицинской практикой, а медицинской наукой. Чехов вспоминал одинокие часы в тагарской читальне, когда, выучив чуть ли не паизуст свежий номер «Будильника» или «Осколков», он принимался за том Гумбольдта или Шопенгауэра. Читать эти книги было скучно, но не было скучно над этими книгами мечтать о своем будущем. Чаще всего Чехов воображал себя путешественником или ученым.

Мечты о будущем могли теперь осуществиться.

Чехов зашел в портрентную напротив университета. Он решил за кружкой пива обдумать свою предстоящую научную работу.

Он хотел писать историю медицины в России.

Мысль эта родилась у Чехова, когда однажды случайно он попал на лекцию знаменитого Ключевского.

На кафедру взошел маленький сухонький старичок с плотно сжатыми губами и жидкими седыми волосами. Он оглядел аудиторию сквозь очки и слабым, неожиданно высоким голосом начал лекцию.

Ключевский читал равнодушно, часто закрывая глаза, как будто подчеркивая, что ему безразлична и русская история, и студенты, и то, что он стоит на кафедре и читает лекцию. Но прошло десять, пятнадцать минут — и кафедра превратилась в подмостки театра, на которых один талантливый актер без грима, костюмов и декораций разыгрывал драмы и трагедии русского государства.

Ключевский не читал историю, а именно разыгрывал ее, перевоплощаясь в царей и летописцев, приказных и думских дьяков, воевод и послов.

С лекции Ключевского Чехов ушел с ощущением человека, внезапно наделенного шестым чувством. Этим новым чувством было чувство прошлого.

На столе у Чехова появились сборники древних летописей, народных былин, русских песен, царских указов, донесений иностранных послов, легендарных житий, государственных документов.

Как были бы удивлены сотрудники «Будильника», если бы узнали, что автор «Осколков московской жизни», этот мелкий журналист, писавший юмористические заметки о гулянии в манеже, театральных скандалах и тараканах в булочных, одновременно работал над большим научным трудом!

Чехов стремился взглянуть на русское прошлое глазами медицинского историка. На полях книг он отмечал рассказы о болезнях и смерти, ядах и ранениях, лекарях и лекарствах. Из древней Псковской летописи Чехов занес в свою тетрадь сведения о посещавших Русь морах и голодах. Из

сказаний иностранцев о Руси — повествования об иноземных лекарях на Москве и превратных их судьбах. Из народных лечебников — любопытные приметы или сведения о целебных травах. Из былин о «Терентии-госте» — строки о болезни терентьевой жены Оленушки:

Ее с вечера недуги берут,
К полуночи ее печаль бьет,
К белой заре лихорадка трясет,
Ночью то черная,
Лихорадка красная,
Пухота, подживотная скорбь.

Так, по крупницам извлекал Чехов из разнообразных древних источников материал для своего исследования. И он радовался, когда ему, «медицинскому историк», удавалось осветить какое-нибудь важное историческое событие с новой точки зрения.

Годы смутного времени особенно заинтересовали Чехова. Внимательно изучил Чехов сборник старинных документов — «Розыск о смерти царевича Дмитрия углицкого, составленный из государственных актов и современных записок». В свою тетрадь Чехов подробно записал показания нескольких свидетелей о падении болезни маленького царевича. И то, что ускользнуло от внимания историков, не прошло мимо Чехова. Именно в этих показаниях он увидел ключ к разгадке запутанной исторической тайны. Ведь падучая болезнь неизлечима. Если маленький Дмитрий болел падучей, он должен был бы ею болеть и взрослым. Но человек, севший на престол русского царя под именем Дмитрия, падучей не страдал. И это неоспоримо доказывало, что Лжедмитрий на самом деле был самозванцем...

Таково было историческое открытие, которое сделал молодой медик Чехов.

Свой труд Чехов не довел до конца. «История врачебного дела в России» осталась ненаписанной.

Но занятия Чехова не прошли бесследно. Он почувствовал вкус к долгой и терпеливой работе за письменным столом.

Он думал о том, что, может быть, и писателю следует накапливать материал так же кропотливо, как накапливает его исследователь.

И он думал еще о том, что писатель, как и исследователь, должен быть точен и правдив.

В искусстве нужна правда или же совсем ничего не нужно.

11

Из живорыбной лавки у Москворецкого моста Чехов вышел с неудобной, завернутой в рогожку ношей.

Быстрый дождь только что пронесся над городом. Бумажный кораблик, еще осенью выброшенный на мель у края тротуара, дрогнул и, размывая на себе последние чернильные строки, поплыл по воде, мутной от пуха деревьев. Разноцветным магнитом висела радуга над переулками Замоскворечья. Где-то в глубине дворов бестолково закричали петухи, в весеннем воздухе легко разнеслось цоканье лошадиных копыт. Смолкший шум дождя, казалось, омыл все звуки.

Наступала пора, которая несла радость тем, кто свободен. И Чехов радовался этой поре. Железные плиты университетских коридоров, экзамены, мучительные при его слабой памяти, дежурства в клиниках — все это отодвигалось до осени.

Из живорыбной лавки Чехов нес верши. Он спешил куда-нибудь за город, на берега Истры или Пехорки.

Здесь проводил он летние дни.

Шумели в осокое чибисы. На рассвете солнце поднималось над полями, ничем не заслоненное. Ночью в рошах раздавались протяжные стоны птиц, схваченных совой. В эти часы и дни перед Чеховым раскрывалась природа московских мест, как раскрывалась перед ним в детстве степь.

Он учился видеть природу и владеть ею в своем воображении. Нужда заставляла Чехова попрежнему сочинять юмористический календарь для «Будильника» и торговать анекдотами, поэтизированными из старых французских журналов. Но он чувствовал себя уже пресыщенным этой работой.

Он начинал ощущать свою непригодность быть поставщиком юмористического материала, именно материала, потребляемого читателем, как потребляет он бумагу, карамель или табак.

— Я очень туп для выдумывания

острых подпоясов, — признавался он Лейкину.

Он был прав, ибо для выдумывания подписей требовался не талант, а только гибкость, не воображение, а только находчивость.

Но Чехов обладал талантом и воображением, и они уже мешали ему сотrudничать в «Осколках».

Его тянуло совсем к другому — к рассказам, в которых он не должен был бы обязательно смешить, к свободному повествованию о русской природе и русских людях, о всем том, что видел он перед собой.

Чехов написал несколько таких рассказов. Лейкин нашел их слишком серьезными и слишком длинными — на несколько десятков строк длиннее, чем полагалось в журнале.

Чехов обещал Лейкину впредь серьезничать только по большим праздникам.

Обещания своего он не сдержал.

12

Когда Чехов встречался теперь со старшими братьями, он вспоминал детство и поездку в Криничку, Александра в шлеме из сахарной бумаги и Николая в шапокляке.

Александру было уже под тридцать. Из подающего надежды литератора Агафопода Единичина он незаметно превратился в брата Антоши Чехонте. Он начинал сознавать себя неудачником, и это сознание толкало его на ложные шаги. Постепенно им овладевала болезнь неудачников — готовность писать о чем угодно, только не о том, что ближе сердцу. Охотнее всего он писал почему-то о таможенных злоупотреблениях. Статьи были скучные, но подписывал их Александр очень звучным псевдонимом — Алоэ. Он боялся, что читателю будет скучно, заискивал перед ним, суеился — и от этого статьи его делались еще скучнее. Он терял главное — способность, взяв в руки перо, оставаться самим собой.

Простая жизнь ему не удавалась. Для нее у него не хватало веры в себя. Он вешал на стену часы из пробок, прутьев и бутылок с водой вместо гири. Он прессовал газетную бумагу и покрывал ею пол вместо линолеума.

На это уходили силы и годы. Александр уже выдыхался.

Николай — тот не мог пожаловаться на недостаток таланта. Николай был не только блестящим карикатуристом. Он брался за большие полотна на исторические сюжеты — и они удавались ему. Он написал маслом картину «Бедность»: молодая женщина с тонким и измученным лицом в углу комнаты — и каждая подробность этой картины, простой и проникновенной, говорила о большом человеческом сердце. Он набрасывал портреты — и они привлекали к тому роду портретов, которые таинственным образом внушают зрителю твердое убеждение в сходстве с оригиналом, хотя бы оригинал был совершенно незнаком зрителю — столько было в этих портретах внутренней правды.

Между ними, Антоном и Николаем, существовала большая дружба людей большого таланта.

Они вместе создавали веселые журнальные полосы, вместе ходили в редакции, бродили по московским улицам, засиживались в недорогих трактирах, ходили на вечерники к приятелям, ездили на пикники в Сокольники, оба любили смех, музыку и природу.

Но Николай уже не двигался вперед. Ему мешала лень, самоуверенная поза, фатовство. Он верил в свою гениальность и потому считал, что может не утруждать себя чтением Тургенева.

Это был все тот же босой человек в шапоклжке.

Время, когда можно было палкой сбить с головы Николая цилиндр, прошло.

Однажды Чехов написал Николаю длинное и взволнованное письмо. Он напоминал о долге художника перед самим собой. Николай все понял, но изменить в своей жизни ничего не захотел.

С тех пор Чехов молчал. При встречах с братьями он испытывал легкую грусть и одновременно с ней — приступ рабочего настроения, как будто он мог работать и за Александра и за Николая.

13

Случалось так, что, написав какой-нибудь рассказ, Чехов с досадой замечал, что в последнем номере «Будильника» или «Осколков» кто-нибудь из товарищей уже опередил его, напечатав вещь в том же самом роде.

И все же Чехов посылал рукописи в редакцию — в надежде, что через полгода вещь товарища позабудется и тогда он сможет напечатать свою собственную. Не пропадать же рассказу!

Нигде в диспинках или письмах великих современников Чехова не найди хотя бы одной строчки об юмористе Антоше Чехонте.

Случайно перелистывая грубо раскрашенные страницы юмористических журналов, едва ли они отличали Антошу Чехонте от Агафопода Единичкина, Эмиля Пупа, Мефистофеля из Хаюльников, от десятков других сочинителей снежков.

Да и вряд ли Лев Толстой читал какой-нибудь «Будильник»!.

В истории жизни одного только современника Чехова появляется мелко это имя — Антоша Чехонте.

У студента-медика Чехова был один замечательный читатель. Никому неведомый мальчик — поваренок, трапезник и птицелов — он более всего в евоей детской и трудной жизни любил книги. Он доставал их, где только мог, — у товарищей своих и хозяев, читал все, что давал ему даром случайные друзья или же за деньги владельцы книжных ларьков. Среди любимых книжек и переводных приключенческих романов он изредка находил сочинения Пушкина и Лермонтова, Бальзака и Флобера. Они раскрывали мальчику первые тайны искусства трогать и волновать с помощью обыкновенных слов, уложенных в обыкновенные фразы.

Но раннюю мечту о писательстве рождала в мальчике не она. Как-то в одном из юмористических журналов мальчик нашел рассказ, который понравился ему очень хорошим. Захотелось самому попробовать писать так же хорошо.

Под рассказом была подпись — какая-то странная: Антоша Чехонте.

Мальчик спросил об этом Чехонте у знакомого гимназиста.

— Ты лучше читай серьезные книжки, а юмористические журналы брось! — важно пробасил гимназист.

Мальчик смутился, но все же имя Антоши Чехонте запомнил.

Звали этого мальчика Алешей Пешковым.

Через двадцать лет он, знаменитый писатель Максим Горький, с волнением стоял у дверей чеховского дома, ожидая мгновения, когда увидит человека, чей образ с любовью пронес он через свою жизнь.
